

Александр Бахвалов

Зона испытаний



Александр Бахвалов
Зона испытаний
Серия «Нежность к
ревущему зверю», книга 2

OCR: DOK

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158553

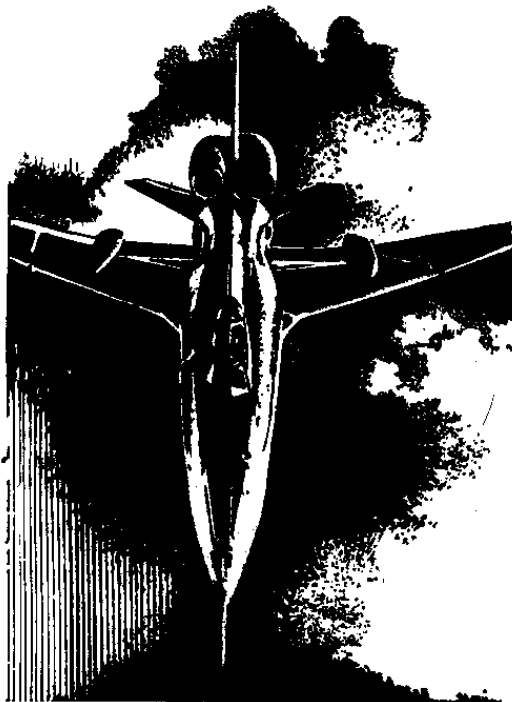
Молодая гвардия, No1, 2: Молодая гвардия; Москва; 1973

Содержание

1	6
2	34
3	42
4	61
5	72
6	88
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Александр Бахвалов

Зона испытаний



*От жизни человечества, от веков, поколений
останется на земле только высокое, доброе и
прекрасное, только это. Все алое, подлое и
низкое, глупое в конце концов не оставляет*

следа; его нет, не видно. А что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, О совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы...

И. А. БУНИН

В Лубаносове поезд остановился на три минуты. Этого едва хватило Долотову, чтобы отыскать вагон, а тут еще человек не дает пройти: встал перед ступеньками и, глядя вверх, не очень трезво обещает проводнику:

– Я до вас доберусь!

– Может, лестницу подать?

– Я и без лестницы!..

– Ишь ты, альпинист... А ну посторонись, дай пройти пассажиру!

И вот после метельной темноты и неразберихи – безлюдный коридор вагона, слабый свет и застарелый запах табака. Почти все купе раскрыты, на глаза то и дело попадаются свернутые за ненадобностью полосатые матрацы. Долотов решил уже, что и в том купе, где его место, тоже никого нет, но там оказалась девушка, сидевшая у столика, в накинутом на плечи пальто с меховым воротником, а поверх него – светлая коса, перехваченная у затылка черной лентой. Когда он вошел, нерасчетливо сильно дернув дверь, с грохотом скользнувшую в стену, девушка вскинула глаза на Долотова и тут же отвернулась, едва шевельнув губами в ответ на его «извините», и глядела теперь не в книгу, которую читала, а в темное окно.

«Черт, кажется, напугал...» – подумал Долотов, досадуя

на себя. Он снял пальто и шапку, положил на полку чемодан и заторопился в ресторан, чтобы избавить пассажирку от своего присутствия до той поры, пока она не заснет.

В ресторане было жарко, оттого и окна толсто заиндевели. Пассажиры занимали не более половины мест и настроились, видимо, на долгое сидение. Так уж водится, в поездах только тем и занимаются, что спят, едят или говорят, а все подолгу, сверх всякой меры.

Долотов присел за свободный стол и оглядел соседей. За столом справа сидели две милые старушки, уступчиво делившие пополам порцию винегрета, а впереди устроилась пожилая большелицая женщина. На руках у нее копошилась крохотная белая болонка, и, когда кто-нибудь вставал или проходил мимо, собачка принималась коротко, злобно взлаивать: «Вэк! Вэк! Вэк!...»

Долотов заказал белого массандровского вина, и вино оказалось очень хорошее – с тонким, не вдруг дающимся, как бы притаившимся ароматом.

«Толстая коса на спине и бант... Светло-русые волосы...» Долотов мысленно перебирал знакомых и случайно виденных девушек, но ни одна из них ничем не напоминала пассажирку. «А может, просто по-старинному красиво все это: и коса и бант, я давно не видел, и в этом все дело?»

Кто-то, ранее сидевший на его месте, отогрел пальцами круглый глазок в ледовом панцире окна, через который можно было разглядеть плотную массу несущегося мимо снега.

«Из-за этой погоды Лютрову, наверное, так и не пришлось слетать за меня», – подумал Долотов.

И, вспомнив о Лютрове, о том, что благодаря ему он смог получить отпуск, Долотов, не привыкший чувствовать себя обязанным, испытывал теперь светлое, ничем не омраченное расположение к Лютрову. Впрочем, не только к нему. Возвращаясь в Энск после двухдневного пребывания в Лубаносове (где он некогда жил в приемных сыновьях у старой учительницы и куда приезжал каждый год в день ее смерти), Долотов находился в том радостном примирении со своей совестью, которое у людей его склада является главной душевной потребностью, и потому все, что он думал о Лютрове, о погоде, о девушке из купе, о вине, которое пил, – все имело отпечаток этого его душевного состояния.

Впереди справа, спиной к Долотову, устроилась женщина в пушистом светло-оранжевом свитере, и по нетерпению, с каким она двигала плечами, нетрудно было догадаться, что разговор с лысым соседом очень занимает ее. Это подтверждалось еще и тем, что время от времени она коротко выговаривала беспокойно стоявшей у стола толстой девочке, румяной и капризной, в очень коротком платице, грешно обнажавшем недетски полный задик в тесных штанишках. Состояние женщины, которой девочка мешала разговаривать, на минуту увлекло Долотова, и он не сразу заметал на себе взгляд ее соседа. И только когда тот поднялся, пристально глядя в его сторону, Долотов узнал Анатолия Одинцова, од-

нополчанина времен службы на востоке. На сильно увеличенном лысиной лице приятеля не было уверенности, что человек, которого он видит, знаком ему.

– Прошу прощения, вы?.. – начал Одинцов, наклоняясь к столику, во Долотов перебил его:

– Я. Садись.

Одинцов долго тряс обеими руками руку Долотова и восклицал:

– Надо же! Ночь, поезд! Скука второй день! И вдруг – ты!.. Как воздаяние за невзгоды. Рад, Боря, диким манером рад!

На нем был светло-коричневый костюм какого-то особенного покроя и того тусклого оттенка с налетом дымки, какой придает цвету замша. Между лацканами пиджака проглядывала полоска золотисто-зеленого галстука, несильно стягивающего воротничок белой рубашки. Весь он был основателен, спортивно тяжел, даже монументален, но какое-то, то ли виноватое, то ли приниженное выражение на его лице подсказывало, что Одинцов готов признать Долотова если не старшим, то более значительным, что ли.

Они были не настолько близкими друзьями, чтобы при любых других обстоятельствах потратить па встречу более десятка слов и двух рукопожатий, и если теперь обрадовались, то прежде всего неожиданности события, возможности не худшим образом скоротать нудное поездное время.

В училище Одинцова считали поэтом – по праздникам он писал стихи в стенгазету и легко, как разговаривал, читал

в подлиннике «Слово о полку Игореве». Но в летных науках был нерадив, да и на службе с ним то и дело случались ляпы, именуемые «предпосылками к аварии»: то ему чудился дым в кабине, и он возвращался с задания и суетливо садился с большим перелетом, то врач обнаруживал у него повышенное давление, заторможенную реакцию или еще какое-нибудь «отклонение». И Одинцов не стеснялся говорить об этом. В его впечатлительной, капризной, легко возбудимой натуре было что-то женское, какая-то кокетливая уверенность, что все его слабости извинительны. Еще и теперь в нем проглядывало что-то от прежнего Одинцова, несмотря на возраст. Может быть, неприкрытое любопытство, живо отображавшееся на его лице; острое желание узнать, каков теперь Долотов, сравнить его с собой, найти нечто занимательное в этом сравнении, убедиться в значимости и верности или незначимости и неверности своих представлений, взглядов, своего понимания людей, жизни, наконец.

Заговорили о службе, и Одинцов стал рассказывать о тех событиях, которые произошли уже после того, как Долотов был откомандирован в школу летчиков-испытателей; о катастрофе, в которой погиб командир части дважды Герой генерал Духов, завещавший похоронить его в братской могиле на Украине, где погребены его фронтовые друзья.

— И не велел ставить никакого памятника... Да ты лучше меня знаешь! — заключил Одинцов, имея в виду, что дочь генерала — жена Долотова.

Долотов кивнул. Он узнал о гибели Духова еще до своей женитьбы, незадолго до окончания школы и направления на работу в Энск, где жила семья генерала.

Инструктором Одинцова в училище был Андрей Трефилов, тот самый, с кем Долотов отказался летать на «семерке». И почему-то именно Трефилов пришел им на память теперь. Долотов напомнил Одинцову о его эпиграммах на бывшего инструктора.

– Ты не знаешь, как он расплачивался со мной! – весело отозвался Одинцов. – Во время полета на спарке высунет свой конец переговорной трубки навстречу потоку, а воздух мне в уши. Шум, свист, больно... Подонок. Он где-то у вас работает?..

– Отработался. Ушел на серийный завод. Но и там набуробил. Выгнали, кажется... Кто это? – спросил Долотов, обеспокоенный одиночеством недавней собеседницы Одинцова.

– Что?.. А, – Одинцов неопределенно взмахнул рукой. – Соседку встретил, живем в одном доме.

– Женат?

– Обхожусь. – Он сощурил глаза и ернически прибавил: – Чтобы женщина волновала, связь с ней должна быть немного преступлением!

– Служишь?

– Нет.

– Летаешь?

– Бросил, как и жену. Даже по весьма схожим причинам.

– А если серьезно?

Одинцов опять сощурил глаза, и Долотов решил, что это новая привычка у него.

– С тобой иначе нельзя, я же помню тебя. Ты все принимал всерьез, желаемое за сущее! А меня всегда воротило от слишком озабоченных физиономий.

– Проще не можешь?

– О себе говорить просто никто не может.

– Отчего бросил летать?

– Увлёкся другой материей, – ответил Одинцов с такой улыбкой, когда не поймешь, шутит человек или нет. – Вот и подался на гражданку в шестьдесят первом. А то бы выгнали.

– За что? Фальшивые деньги?

– Не совсем! – Одинцов принял шутку и не хотел оставаться в долгу: – Бог истратил на предмет моего увлечения одно ребро полноценного материала! И обернулось ребро женщиной. – певуче добавил он, окидывая взглядом проходящую мимо даму с девочкой.

В глаза бросались негроидные черты лица женщины: губы были пухлы, ноздри приплюснутого носа широки, вся она была мила какой-то опрятной прелестью.

– Я не прощаюсь с вами! – сказал Одинцов, и она с выражением вынужденного согласия – что-де с вами поделаешь! – едва приметно кивнула, легонько подталкивая в спину заглядевшуюся на мужчин девочку, напоминая ей:

– Идем, ты же спать хотела.

Мечтательно глядя в сторону закрывшейся за женщиной двери, Одинцов раздумчиво произнес:

– Ей и самой неизвестно, что являет она глазам.

– Тебе ведомо?

Теперь Одинцов глядел с легкой насмешливостью, как если бы они коснулись той области, где кончается превосходство Долотова.

Одинцов закурил и, глядя на догорающую спичку, устало улыбнулся, затем посмотрел на Долотова оценивающе, будто решал: удостоить ли откровения?

– Ты умный парень, Боря. И великий летчик. Это не похвала и не открытие. С тобой нельзя было равняться. Ком-эск так и говорил: я в сравнении с Долотовым – барбос рядом с гончей. Но... – И опять на его лице тенью промелькнуло выражение нерешительности, замаскированное затем нарочитым оживлением. – Но, как и многие из нашего брата, ты лишен таланта видеть женщину. – Одинцов улыбнулся, и нельзя было понять – чему: бесталанности Долотова или собственным словам. – Не ту женщину, что показывают на обложках журналов, на экранах кино или в залах музеев. Все изваяния – ложь и глупость! Глядеть – не владеть, как говорят на Руси.

– Сильна как смерть любовь, сказал царь Соломон! – усмехнулся Долотов.

– Не верь Соломону. Чепуха. Смерть – примитив... Тоска, боль и неведение. И приходит всего один раз. Скучно.

Зато женщина неизменно возвращается... – Протянув руку, Одинцов с осторожным изяществом надломил сигаретный пепел на краю пепельницы.

А Долотов рассматривал крупную голову Одинцова, слушал гладко произносимые фразы с ударением на незначущих словах – манера умничанья – и все более убеждался, что внутри этого парня все распалось, рассыпалось, а он и не заметил разрушений и потому бодр, рассудителен, бьет на внешнее впечатление и даже вот сожалеет, что Долотов не постиг каких-то бабьих загадок. «Все не так, – думал Долотов. – Не из-за этих художеств ты бросил летать... Просто открыл однажды, что куда спокойнее постоянно держать на поводке свою теплую жизнь и быть уверенным, что каждый следующий день твой, и чем больше их будет, тем лучше. Все они позарез тебе нужны и хорошо прилажены к твоему гладкому телу, такому чуткому на радости. В этом все дело...»

– Небось думаешь, что у меня не жизнь, а сплошные заблуждения? – более утвердительно, чем вопросительно произнес Одинцов, невольно, может быть, давая понять, что он не переоценивает способностей Долотова к сложным выводам.

Долотов пожал плечами:

– Каждый по-своему с ума сходит.

– Думаешь. – Одинцов прикурил погасшую сигарету. – Может быть, ты и прав. Хотя... Видел – в музее авиации висят крылья? Человек делал их шесть лет, скрупулезно ко-

пировал журавлиные, хотел взлететь, как это делают птицы. Ювелирная работа, шедевр, но – заблуждение! А разве оно не великолепно?.. Кто знает, что есть жизнь истинная – пути праведные или потемки заблуждений? Человек себялюбив, Боря, его писаная история вся состоит из ряда постижений, открытий, находок. А разве это так? Подлинная история всех вместе и каждого в отдельности на семь осьмих состоит из неудач, провалов, глупостей, порой изумительных.

– Это утешает? – усмехнулся Долотов.

Одинцов кивнул, но не в ответ на вопрос Долотова, а чему-то, о чем подумал, пока, затянувшись в последний раз, гасил сигарету.

– Я же говорил, ты человек серьезный. Из таких, по словам поэта, можно делать гвозди. Я, увы, непригоден для скобяного товара.

Он помолчал, как человек, который высказался не лучшим образом, но не потерявший надежды исправить дело.

– Раньше я был убежден: ты, другой, третий можете быть, а можете и не быть особенными, это случайность. Но я – я! – не могу не быть особенным! Мне все доступно! И все потому, что я – это я!.. Но когда я возвращаюсь к прошлому, чтобы понять его, то, оказывается, мне было вполне достаточно одной уверенности, что я – могу. А убеждать кого-то в своих способностях... Зачем? Долго и скучно. И теперь я не только не удивляюсь, но равнодушен ко всякой последней мысли, воплощенной в книгу, в машину, в кинодраму, потому что

за всем этим вижу попытки скучных людей найти себе место на тумбе номер один, потешиться своей особенностью.

– Так уж все и метят на эту тумбу?

– А куда еще?

...Просидели до закрытия ресторана. Выходя, Одинцов сунул руку во внутренний карман пиджака и подал Долотову квадратик жесткой белой бумаги, держа его между указательным и средним пальцами.

– При нужде звони...

На бумажке было каллиграфически прописано: «Одинцов Анатолий Александрович, корреспондент еженедельника «Транспортная авиация»; шрифтом помельче указывался адрес и телефон.

– Ночью, а вернее – утром мне сходить в Юргороде. Начальство прослышало о не состоявшейся там планерной школе. Так что до Энска не увидимся.

Вагон, в котором ехал Одинцов, был рядом с рестораном. В приоткрытую дверь купе Долотов увидел давешнюю женщину. Она сидела в ногах спящей девочка и рассматривала журнал с картинками мод, уже переодетая в халат. Блекло-розовый, точно выгоревший на солнце он делал ее полетнему нарядной, какой-то уютной. Из купе исходил запах духов, пахнувших нежно и молодо.

Добравшись до своего вагона, Долотов медленно, стараясь не лязгнуть дверью, открыл ее и вошел в купе.

Все так же светила лампа па толстой ножке, но девушка

уже не читала книгу, а лежала лицом к стене, как была – одетой, прикрыв ноги пальто. Судя по тому, как расслабленно покачивалось ее тело, она спала.

Долотов снял пиджак и тоже прилег.

Глухими дублетами постреливали колеса, поколыхивались вагон, подрагивал абажур на лампе. Иногда налетал шум встречного поезда, ошалело громыхающего всем своим железом, и снова успокоительно стучали колеса.

«Он все-таки глуп, – думал Долотов. – Говорит много чепухи. Глуп той последней глупостью, что подчинила себе накопленную жизнью, приспособила к себе все чувства, и теперь навсегда».

Долотову не спалось. Он вставал, выходил в коридор, напившись бесшумно открывать и закрывать дверь, подолгу стоял там, курил, глядел в окно, за которым не переставая метался снег.

«О себе просто говорить никто не умеет», – пришли на память слова Одинцова. – Вот он и выбрал, как позатейливее сказать правду. И в затейливости этой скрыто желание хоть как-нибудь приглушить беспокойное подозрение, что жизнь не удалась. Но ему не откажешь в последовательности: не понравилась работа – взялся за другую, по сердцу; разлюбил жену – и ушел от нее, чтобы жить в согласии с самим собой. Странно, однако: прожить в согласии с самим собой и остаться недовольным прожитым...»

Поезд остановился возле маленькой станции, заснежен-

ной и безлюдной. Мимо вагона прошел всего один человек – озабоченный железнодорожник с белыми усами, то ли седыми, то ли запорошенными снегом. Затем станция начала уплывать, один за другим приближались фонари, ощупывали окна и удалялись, и свет их был плотно забит мотыльковой тучей снежинок.

Полязгав на стрелках, поезд набирал путевую скорость. По коридору деликатно, плечом вперед, прошагал проводник, от которого пахло морозным духом...

«Запах снега!» – Долотов вспомнил наконец все то, что не давало ему покоя с той минуты, как он увидел девушку, ее русую косу, ее бант на затылке.

Хлопотливый перестук вагонных колес казался теперь по-древнему милым, а в душе наступило время сосредоточенного покоя, как в опустевшем на ночь деревенском храме, где тишина благостно смешана с лунной полутьмой.

...Тогда был полдень, но так же густо сыпал снег, и, когда твоя спутница скатывалась с холма, тебя томило боязливое чувство, хотя ей всего лишь на минуту удавалось скрыться за снежным занавесом, потеряться в ста шагах от тебя в своем белом свитере. Ты быстро нагонял ее.

И слышал смешливое дыхание, видел русую косу, спускавшуюся из-под вязаной шапочки в ложбинку между выступающими под свитером лопатками, следил, как скользят, чередуясь, ее золотистые лыжи...

Вы с ней добирались к даче, где она жила летом, – три ки-

лометра от пригородной платформы. Ей было шестнадцать лет, тебе – на год больше, ты последнюю зиму жил в спецшколе.

Шел снег, легко и неслышно скользили лыжи, неслышно лежала холмистая земля, неслышно темнела островерхая еловая роща.

Тебе почему-то не хотелось, чтобы перестал идти снег, чтобы окончился путь, а она торопилась, торопилась!..

Иногда оборачивалась – только для того, чтобы посмотреть на тебя, и, опираясь на тонкие палки, улыбалась, забавно морщась от щекочущих снежинок.

И снова убегала вперед, немного скованно передвигая ногами, как все девушки, если они не спортсменки. Ты шел, не отставая, подстегиваемый предчувствием чего-то необыкновенного, что ожидало тебя там, на даче, в конце пути.

Когда оставалось совсем немного, у ее лыжи на левой ноге ослабло крепление. Ты укоротил растянувшийся сыромятный ремень и как следует закрепил ботинок. Щиколотки у нее были тонкими, нога покорно слабела, когда ты прикасался к ней. Но как только крепление было налажено, спутница твоя погрузилась. Что-то произошло с ней, ты не видел ее лица до конца пути. Зато там, на даче, все стало по-иному. Ты отряхнул лыжи – ее старательнее, чем свои, – и с каким-то тайным умыслом поставил их вплотную друг к другу. После лыж легко ходилось. Вы излазили все сугробы вокруг дачи, заглядывая в окна – ключа у вас не было, – и, прижимаясь

лицом к стеклу, она с восторженным удивлением показывала тебе старое кресло, большую синюю вазу с отломанным верхом, ветхую кушетку, на которой спала летом, плюшевого мишку, сидевшего, свесив ноги, на резном буфете, и все, что только попадалось ей на глаза.

Снег пошел слабее, дрогнул ветер. Прогнувшиеся ветви сосен высвобождались от снежной тяжести и, будто вздыхая, роняли сыпучие вороха, иногда – на ваши спины, но от этого становилось лишь веселее. Вы истоптали весь участок, пока добрались до большого сарая. Он был не-заперт, пуст и без окон, а на пол сквозь щели в стенах надуло горбатые лучики снега.

Тут было тихо и так укромно, что вы замолчали. Она прислонилась спиной к стене и принялась разглядывать ботинки, в которые набился снег. И ты опять, словно это было поручено тебе и само собой разумелось, расшнуровал ей ботинки, снял, вытряхнул снег, снова надел, затянув веревочки плотно, но не туго. Ступни ее ног в белых шерстяных носках были сухими и теплыми, и, прикасаясь к твоим ладоням, она шевелила пальцами... Когда ты поднялся, она спросила, не холодно ли тебе, и добавила, что ей жарко, хоть раздевайся. – И сразу простудишься, – сказал ты, еще полный заботливости после хлопот с ботинками.

Она отрицательно покачала головой, а ты вдруг заподозрил что-то в ее побледневшем лице, в пересиливающей эту бледность чуть надменной улыбке, в кругло раскрытых влаж-

ных глазах. Потом эта улыбка дрогнула, сменилась выражением нежности и любопытства и отозвалась в тебе предчувствием сладким и тревожным.

– Хочешь поцеловать меня?

Ты кивнул, завороченный ее липой, совершенно уверенный, что твое сердце вот-вот разорвется.

– Ну?.. Что же ты?..

И тут дохнуло ветром, в раскрытую дверь плеснуло белым вихрем, и твое первое прикосновение к девичьим губам пахло снегом. Потом вы зачарованно глядели друг на друга, а может, это ты ее в силах был отвести свои глаза от ее взгляда.

Лыжню вашу замело. Обратно вы шли рядом и молчали, потому что каждый мысленно возвращался на дачу. Иногда она останавливалась, говорила «погоди» и то поправляла на тебе шапку, то укладывала поудобнее шарф, делаясь в эти минуты превосходительно-строгой, а ты – послушным.

Забравшись в электричку, вы сели рядом, а не напротив друг друга, как утром, и она прижалась щекой к твоему плечу.

...Сыплет снег. Сыплет бескончаемо, будто рушится и никак не иссякнет само ночное небо. Мягко стучат колеса.

Почему столько лет тебя не покидает воспоминание об этой девочке с бантиком? Не потому ли, что твоей женой стала совсем другая девушка? А может, все дело в том, что ты мечтал о дочери – маленькой женщине, которая будет любить тебя всю жизнь?

Когда во время полета на спарке Долотов спросил у Лютова, любит ли он детей, то сам удивился вопросу, потому что впервые ни с того ни с сего заговорил с посторонним человеком о своей семейной жизни.

Сразу же после свадьбы теща сказала, что врачи настоятельно рекомендовали ее дочери повременить с детьми. «У нее поздно формируется, знаете ли, женское. Годика два, а там с богом...» Но прошло шесть лет, а Лия и слышать не хотела о детях. Она дорожила своим здоровьем, как ее мама коврами, мехами, хрусталем, нужными знакомствами, тетками, поставляющими молоко. И зятем, у которого зарплата министра... И при этом ухитрялась делать вид, что ее дочь для него – награда не по чину.

Черт с ней, с тещей. Надеяться, что в один прекрасный день она заподозрит в людях какое-то существенное отличие от себя самой, – все равно, что верить в переселение душ. Но жена...

В обиходе свойство краснеть – примета человека скромного, стеснительного. Такой жена Долотова представлялась тем из друзей, которым довелось познакомиться с ней. Она умела смущаться, как школьница, охотно отзывалась улыбкой на шутку, но – в разговоре с людьми посторонними. С ним же она вела себя так, как если бы знала что-то дурное о нем. У нее был вид человека, обремененного супружеской жизнью, за которую приходится платить больше, чем она того стоит.

«Но... шесть лет рядом с одной женщиной – это для таких, как ты, больше, чем привычка. Исподволь подчиняешься чему-то... Сколько раз ты вот так же изучал свое семейное неблагополучие, а что менялось? Ты разбинтовывал больное место в душе и еще раз убеждался, что болячка все там же. Ты приспособился к ней. Или тебя приспособили, не все ли равно? Приручение состоялось.

Нужно что-то делать, не то намертво вращаешь в эту полужизнь, потеряешь себя окончательно, станешь уродом илихватишь сожительницу стулом по голове – в припадке ложнонаправленного аффекта...»

...Когда поезд подошел к Энску и нужно было покидать вагон, Долотов почувствовал вялость и безразличие – состояние человека, которому некуда идти. И ему не только не было удивительно, не казалось странным, но даже в голову не приходило, что, добираясь до Лубаносова, он хорошо знал, зачем и к кому едет, и как это важно и нужно ему, а вернувшись к живым близким людям, не испытывает ни малейшего желания видеть их.

Из вагона он выбрался последним.

Все, о чем он думал в поезде, что перевернул в душе, теперь осело, улеглось, заслонило тем, что нужно было выходить, шагать вместе с другими пассажирами по перрону; все отступило, представлялось едва различимым, как в тумане, когда очертания предметов расплывчаты, расстояния до них неопределимы, да и сама вещественность видимого

сомнительна. Реальными же сделались вещи обычные, о которых не принято размышлять, среди которых просто живут. Реальна была стужа на дворе, суматошно блудившая по городу метель, нервная суета большого вокзала, громкий голос женщины-диктора, спины и затылки пассажиров, носильщики с тележками («Какие же они носильщики, если ничего не носят?..»), сдержанное клокотание нутра тепловоза, его дизельный дух – смешанный запах горячего масла и солянки.

А вот и выход на привокзальную площадь, в город.

С этой минуты Долотов точно знал, когда ляжет спать, когда встанет, начнет собираться на работу, когда вернется. Жизнь возвращалась на круги своя. Этому не в силах помешать ни встреча с девушкой, напомнившей ему юношескую любовь, ни разговор со старым приятелем.

На привокзальной площади металась поземка, И без того сумеречный день потускнел. Прошагав немного вдоль тротуара, Долотов остановился у серой стены рядом с двумя деревенскими охотниками, стоявшими с ружьями в зеленых чехлах, с большими рюкзаками за спинами. В руке старшего, с рыжей щетиной на подбородке и разбойничьим бельмом на глазу, была плетеная корзинка, а в ней – до шеи укутанный в тряпье крохотный щенок с большими ушами. Охотники старательно оглядывали прохожих, видимо, пытаясь рассмотреть нужного человека.

– Едем, Минька, ну его к лешему! – досадливо сказал старший. – Да и кутенок жрать хочет.

Сделавшись вдруг по-доброму смешным, он ласково накрыл щенка большой рукой, а когда убрал ее, кутенок вновь поспешно уложил мордашку на край корзины и уставился на Долотова, будто спрашивал: «А с тобой хорошо жить?»

Долотов подмигнул щенку и пошагал вдоль вокзальной стены, по широкому тротуару, за которым проносились такси.

В городе быстро темнело, но шум не стихал, и потому казалось, что людям вокруг неуютно. Завернув за угол, Долотов увидел несколько стоящих в ряд голубых телефонных будок, и, пока шел мимо, заметил прислонившегося к одной из них парня в распахнутой куртке, с нагловатым красивым лицом. На шее яркий галстук, в руке сигарета; в выставленной вперед ноге, во всей позе – лень, превосходство, пресыщение.

А перед ним тоненькая девчушка, вскинула на него свои глаза – большие, ярко-серые, обеспокоенные. Личико чистое, почти детское, носик той изысканной малой остроты, каким он бывает только у девочек, но выражение отчаяния на лице уже не детское.

– Я стала другая? – услышал Долотов сквозь шум шагов и шелест автомобильных колес.

Выражение обиды на ее лице, малый рост, взгляд снизу вверх, какая-то отчаянная искренность в немигающих серых глазах – все это напомнило Долотову Витюльку Извольского.

«Позвонок, – улыбнулся про себя Долотов. – Зайду-ка я к

нему, чаю заварит... У них в доме чай не питье, а действо, отец-то ботаник...»

Долотов отыскал в записной книжке телефон Извольского и втиснулся в одну из голубых будок, где тошнотно пахло каким-то гнилостным запахом. Сунув семишник в щель автомата, Долотов снял трубку, да, видно, рано: блестящий ящик кашлянул нутром и отпрыгнул монету. Долотов сунул ее еще раз. К телефону в квартире Извольских долго не подходили, но Долотову некуда было торопиться, и он терпеливо ждал, пытаясь определить, чем пахнет в телефонной будке.

Наконец в трубке отозвались.

– Виктор Захарович? Привет. Долотов говорит.

– Борис Михайлович? Ты откуда?

Пока Долотов собирался объяснить, откуда он и почему звонит, в трубке послышался отдалившийся голос Извольского: «Ребята, Долотов...»

– Кто там у тебя? – спросил Долотов, догадавшись наконец, что в будке пахнет испорченными яблоками. – Из наших кто-нибудь?

– Да...

– Чего собрались?

– Нелады у нас, Борис Михайлович...

Долотов ждал пояснений, но Извольский молчал.

– С матерью что-нибудь?

– Да нет... На базе.

– На базе?

– Да.

– Что случилось?.. Чего ты молчишь?

– Лешка...

– Лютров?

– Да... На твоей машине.

– Ну?.. Да говори ты!..

– Завтра похороны...

Чувствуя в душе пустоту, Долотов медленно повесил трубку и вышел на улицу.

«Куда теперь? Куда я хотел идти?.. «На твоей машине...» Это я его попросил... «Ты не забудешь меня, Боря? – говорила Мария Юрьевна, приемная мать. – У меня больше никого нет и некому оставить память по себе...»

Минуту он стоял на тротуаре, словно не обнаружил рядом кого-то или чего-то. В памяти возникло милое личико девушки, только что стоявшей здесь.

Но девушки не было. Долотов обернулся и некоторое время тупо глядел на телефонную будку, словно хотел удостовериться, что она-то была, есть, а не почудилась ему, как, может быть, и разговор по телефону. Он не в силах был вытравить из сознания существование Лютрова, он знал, что Лютров живет – говорит, улыбается, двигается! Более того, если до этой минуты были какие-то причины беспокоиться о нем, то именно теперь Долотов определенно знал, что тревожиться не о чем... Но это была совсем безумная мысль, и, не понимая, что заставляет его думать так, снова возвра-

щался к словам Извольского и снова тупел от неспособности понять их значение.

Наконец что-то надломилось в душе, сдавало сердце, и он поверил в страшную простоту несчастья.

«И виноват! Я!.. Все знают, что это я попросил Лютова подменить меня».

Пересекая привокзальную площадь, он едва не угодил под машину.

– Ты, дубина! Глаза есть? – обругал его шофер. – Залил zenки-то!..

Дойдя до угла, Долотов вошел в пивной бар.

Из полуподвального помещения густо несло крепкой смесью запахов пива, табачного дыма и мокнувших окурков. Играло радио. В дыму, под низким сводчатым потолком сидели одетые люди, а между столиками ходила старая женщина с веником и совком в руках, с подвернутым сумой подолом фартука, в котором позвякивали пустые бутылки.

– Не тушуйся, мамаша, прорвемся! – словно глухой, громко сказал ей человек, мимо которого она прошла.

Два круглых столика у стены были свободны. Долотов поставил на пол чемодан и присел, не испытывая никакого желания пить пиво, говорить, слушать, глядеть... Нечеловеческая усталость давила плечи, так бы и просидел до утра...

К столику подошли двое парней. Постарше, в дубленой куртке, от которой разило овчиной, поставил на стол тарелки с соломкой и две кружки, с которых медленно стекала пена.

Минуту приятели держали кружки перед собой, что-то коротко говорили, что-то такое, с чем каждый незамедлительно соглашался. Затем, одновременно решив, что вести разговор с поднятыми кружками неловко, они сделали несколько глотков, закурили и, не обращая внимания на Долотова, и вновь начали прерванный, видимо, на улице, диспут.

И сразу же на лице младшего появилось выражение крайней досады, какое появляется у людей остро чувствующих, нервных, недовольных изложением мысли или обеспокоенных еще не высказанным.

Уловив первые несколько слов разговора, Долотов тут же перестал понимать, о чем они говорят, хотя и продолжал за-чем-то смотреть на парней, переводить глаза с одного лица на другое, словно был третьим участником беседы, или старался убедить кого-то, что это так, а на самом деле он был и не здесь вовсе, он все еще ехал куда-то, слышал шум поезда, но уже не знал, не понимал, какой смысл в этом движении... Ведь только что он проехал через всю свою жизнь, это было изматывающее путешествие, и вот без всякого перерыва, без передышки новая, еще более трудная дорога, для которой у него нет сил...

– Жизнь, старик, скупа на счастливые неожиданности, а между тем все мы от рождения почитаем себя счастливыми номерами, – говорил младший. – Выиграть, конечно, можно, но это исключение, а не правило. Выигрывает лотерея – вот это правило.

– Брось, – спокойно произнес старший. – Все это разлад в душе в мозгоблудие. Не то время. Это раньше жизнь делилась на две части: на непонимание и воспоминания, а ноне все продумано досконально. Ноне все бегут на корпус впереди самих себя и думают о ботинках, а не о моральных проблемах.

– Значит, проста? – Сам того не замечая, Долотов все больше поддавался иллюзии участия в их беседе, выискивая предлог, чтобы рассказать, какую ужасную весть он только что услышал, поделиться несчастьем, увидеть в их лицах отражение хоть малой части того знания, которое так невыносимо ему.

– Говорите, жизнь проста?

– Аки мык коровий, – немедленно подтвердил старший, не давая себе труда повернуть голову в сторону Долотова.

Они снова заговорили о своем, а Долотов поднялся и пошел к выходу.

«В чем ее простота, если люди проживают ее в неустроенности, недовольстве и только тем и занимаются, что смиряются и привыкают ко всему на свете: к шуму и тишине, вещам в запахах, к толпе и одиночеству... к равнодушию близких, с которыми живут. Одни устраиваются лучше, другие хуже, третьи совсем ни к черту. Вот и вся разница. А спроси, окажется, все чем-нибудь недовольны...»

А может, так и следует: жить, как живется, пить пиво и не думать о том последнем крике, после которого тебя не

станет?»

Выла ночь, были прохожие, были, куда ни глянь, желтые прямоугольники окон, скучно повторявшие друг друга, были яркие витрины магазинов. Время от времени ими ненадолго высвечивались лица прохожих, казавшиеся тогда гипсовыми, а тени на них резкими и черными. Долотов едва различал приметы улиц, по которым нужно было идти, чтобы добраться до дому, хотя и не знал, зачем туда идет, не чувствовал необходимости в этом, как не чувствовал боли в озябших пальцах, которыми сжимал ручку чемодана.

Навстречу шел мужчина, державший за руки двух одинаково закутанных в платки ребяташек, терпеливо пристраиваясь к их маленьким шажкам.

«Тогда на спарке тебе вдруг захотелось рассказать Лютрову, что ты мечтал о дочери, о маленькой женщине, которая будет любить тебя всю жизнь!.. Но так и не сказал ничего. Тебя и на этот раз одолела привычка оставаться независимым, не давать довода для расспросов, права на участие в твоей жизни. Для тебя это означало уступать. А ты всю жизнь только тем и занимался, что никогда никому не хотел уступать... Теперь ты знаешь, что это и есть навязчивая идея неудачника».

...Дверь открыла теща, Рита Арнольдовна.

– Вытирайте, пожалуйста, ноги, – не глядя на него, сказала она и поспешила в свою комнату, поблескивая голубым платком-халатом, толстая, суетливая, вечно всем недовольная.

Комната, которую занимали они с женой, была пуста. Из гостиной – большой комнаты напротив – доносились звуки виолончели. Значит, у жены свободный от концерта вечер. Долотов осмотрелся, будто впервые видел хорошо прогретое пространство в двадцать квадратных метров, окруженное коврами, ценно-белыми занавесками, уставленное светлой мебелью... Пахло мастикой для полов.

Прошло несколько минут, Лия не появлялась. Долотов закурил и вышел в коридор, тронул створку дверей, за которыми играла жена.

Лия сидела вполоборота к нему, и он хорошо видел аккуратно прибранную голову, белую кожу лица, шеи, пальцев, по вся она показалась ему бесцветной и бескровной, как в однотонном изображении. Играющие виолончелистки не очень изящны, но жена была одета в брюки, и оттого положение ног не бросалось в глаза.

Минуту он смотрел, как она наклоняет голову к раскладному пюпитру, как напряженно держится отстраненный локоть левой руки, видел выставленную чуть вперед и в сторону левую ногу, полную и по-женски округлую. Он смотрел и будто ждал чего-то, вслушиваясь в долгие трогательно-низкие звуки: эта в голос стонущая, почти человечья нота инструмента всегда трогала его, была понятна, сообщала какую-то надежду. Вот и сейчас ему показалось, что Лия, под чьими руками рождается эта музыка, не может не понять, что происходит с ним, но, когда она обернулась к нему

и он увидел ее лицо, Долотов отвел глаза и вернулся в пустую комнату.

«Вижу, что прибыл, – говорил ее взгляд. – Это еще не причина мешать мне играть этюды».

Он только теперь догадался, что это этюды. Музыка не имела мелодии, была бессмысленна. Музыка ни о чем. Они походили друг на друга – она и ее музыка. Когда она перестанет играть, ничего не переменится. Будет тихо. Только и всего.

С каждой минутой Долотову становилось все невыносимее, как человеку, погибающему от удушья, и, приметив стоящий у дверей свой дорожный чемодан, долго смотрел на него, пока не понял, что есть единственное спасение – убраться из этого дома!

«Лютрову нужно было погибнуть, чтобы я решился...»

Ужасно было сознавать, что он так и не подружился по-настоящему с Лютровым. Это казалось большим несчастьем, чем годы, прожитые в этой квартире. И не боль, не жалость к себе, не горе охватили его при этой мысли, а ощущение бедствия, поражения... Смерти Лютрова не было места в душе Долотова, в его понимании вещей.

Он так и не дождался, пока жена закончит этюды. В пять минут собравшись, он уехал к Извольскому, оставляя за спиной урчащие звуки виолончели и шесть лет жизни с женщиной, которая вызывала их, эти бессмысленные для слуха звуки.

Проснувшись на следующий день после похорон Лютрова, Костя Карауш никак не мог понять, где он, и долго рассматривал освещенную слабым утренним светом небольшую комнату с неудобным диваном, на котором спал; два книжных шкафа из темного полированного дерева, большой письменный стол, вместо бумаг на нем лежало вязанье – какой-то розовый чулок, пришпиленный спицами к клубку ниток. Над диваном, угрожающе наклонившись, висела внушительная копия картины «Девятый вал». К кому он угодил? Ни в одной из знакомых ему квартир не было ни такой обстановки, ни таких высоких потолков, украшенных витиеватой лепниной по углам и в середине, откуда спускались три длинные бронзовые цепочки, поддерживающие люстру. Чувствовалось, что все, что стояло и висело в комнате, появилось здесь давно, давно не двигалось с места, давно по-настоящему никому не нужно, как это бывает в семьях, где родители стары, а дети выросли и разъехались, живут на свой лад.

Судя по свету за окном, время было не раннее. Превозмогая похмельную ломоту в голове и косясь на Дверь, Костя натянул брюки, рубашку, надел туфли и, стараясь не нарушить тишины квартиры, крадучись и о дошел к окну, чтобы по приметам во дворе попытаться определить свое местопребывание.

И что-то там показалось ему знакомым – то ли чугунные фонарные столбы, то ли ажурные перила балконов дома напротив; перила эти были сделаны из кованого железа и представляли собой переплетение фантастических ветвей в стиле модерн начала века.

На дворе было тихое морозное утро. Толстая дворничиха скребла примятый ногами прохожих снег на дорожках. Этот скребущий звук напомнил ему сначала о похоронах, потом о Боровском...

Сунув руки в карманы, Костя заново оглядел комнату и, поскрипывая паркетом, подошел к книжным шкафам. За стеклом одного из них, на полке, были разбросаны тисненые золотом дипломы и свидетельства. Их было много, этих дипломов. Брошенные в беспорядке, они запылились, выцвели, покособились. И опять Косте показалось, что тех, кому эти дипломы могли быть интересны, уже нет в доме... Тут же на полке лежала две фотографии: на одной молодой Боровский был снят возле планера с надписью во весь фюзеляж: «Коктебель», на другой его запечатлели у самолета-амфибии вместе с Главным. Оба были одеты в зимнюю летную амуницию тридцатых годов, оба выглядели довольными друг другом.

– Встал – без всякого выражения пробасил Боровский, бесшумно появившись в дверях.

– Ага. – Ожидая напоминаний о его вчерашнем состоянии, Костя криво улыбнулся, но Боровский был хмур, гля-

дел рассеянно, и Костя понял, что «корифей» не расположен обсуждать эту тему.

– Похмеляешься? – не очень вежливо поинтересовался он.

– Перетопчусь.

– Тогда пойдем кофе пить.

Шагая вслед за Боровским по темному коридору на кухню, Костя чувствовал себя неуютно – не из-за того, что Боровский приволок его к себе мертвецки пьяным («Никто его не просил...»); неловкость Кости происходила от непривычной ситуации: он впервые в жизни оказался не только в квартире «корифея», но и наедине с ним. До сих пор отношение Кости к Боровскому было опосредствовано присутствием других людей, работой, где он был величиной должностной, лично Костю Карауша ни к чему не обязывающей, если не считать подчинения в полетное время. Здесь же, у себя дома, Боровский был самым собою полностью, хозяином, то есть в таком значении своей личности, которого Костя попросту не знал.

Принялись за кофе молча, каждый глядел в свою чашку.

– У Лютрова из родных кто остался? – спросил наконец Боровский.

– Никого.

Боровский поднялся, взял с плиты кофейник и, не спрашивая, налил Косте еще. После второй чашки похмельная тяжесть в голове вроде бы стала рассасываться, хотя на Ко-

стю в таких случаях лучше действовало кислое молоко или кефир.

– Не везет хорошим людям, – сказал Костя.

– Везет всегда не тем, кому надо, – хмуро отозвался Боровский. – Видел вчера Долотова? – неожиданно спросил он, но тут же махнул рукой: – Впрочем, кого ты видел...

– Да, перебрал малость... А что Долотов?

– Ничего. Ему бы напиться вроде тебя, все легче было бы...

– Вроде меня он не пьет. А вы насчет того, что ему повезло?

Повезло... Хуже нет, когда так везет. Каждый сопляк будет теперь пальцем тыкать: это, мол, тот самый, из-за которого хороший человек погиб.

– Н-нда, психология... – Косте стало не по себе, как это всегда с ним бывало, когда он чего-нибудь не понимал. Вот и теперь Костя внутренне поморщился: «При чем тут Долотов? Что он, нарочно, что ли?»

От третьей чашки Костя отказался.

– Благодарствую! Пойду, извините... Я вам и без того учинил беспокойство, так сказать...

– Деньги на такси есть?

– Да, да! – поспешил заверить Костя, хотя наверное знал, что в карманах у него ни гроша.

Выбравшись на лестничную площадку, он почувствовал явное облегчение, словно получил желанную возможность

поразмышлять на свободе, и решил, что слова Боровского о Долотове – чепуха и заумь. Но тут в похмельной голове Кости шевельнулась неожиданная догадка: уж не по себе ли меряет «корифей» нынешнее состояние Долотова? Ведь «семерка» разбилась после того, как Боровский передал самолет Димову! «Надо же: до сих пор переживает! Скажи кому, не поверят...»

Медленно спускаясь по истертым до глубоких лунок марморным ступеням, Костя увидел женщину, поднимающуюся с бидоном в руках. «Молочка бы!» – подумал он, глядя на голубой бидон. На лестнице было холодно. Остановившись на междуэтажном помосте, он принялся застегивать меховую куртку, надетую поверх коричневого свитера. И, глядя па добротную дубовую облицовку перил, снова заподозрил, что когда-то уже был здесь... Сверху вниз промчались трое мальчишек с портфелями. «Килька без понятия, – подумал Костя. – Нет, чтобы на перилах съехать...»

Пока он застегивался, надевал перчатки и вспоминал, когда в последний раз катался на перилах, вверху, на лестничной площадке, появилась женщина в красном вельветовом платье. Костя мельком взглянул на нее. «Похожа на кого-то, – подумал он, укрываясь воротником куртки и нахлобучивая поглубже шапку, – И в городе спасу нет от большого и сплоченного коллектива летной базы».

– Костя, – донеслось к нему.

«Ну вот!...»

Он исподлобья глянул вверх, собираясь как можно поспешнее ретироваться, но это было невозможно.

– Даля?!

Ему стало жарко. Он сдвинул шапку к затылку, расстегнул куртку и, не отрывая глаз от Дали, пошагал наверх. «Не подходи слишком близко, – напомнил он себе. – От тебя перегаром несет...»

Минуту они стояли друг против друга, не зная, что сказать, как отнестись к этой встрече. Даля заметно пополнела, на руке, которой она без нужды перебирала цепочку на шее, поблескивало обручальное кольцо, но лицо было по-прежнему молодо и красиво.

– Ну, здравствуйте, – сказала она, удивленно вскинув густые черные брови.

Костя кивнул.

– Теперь ты здесь живешь? – спросил он.

– Вы забыли... Я всегда здесь жила.

Костя опять кивнул. Он не обращал внимания на слова, он смотрел в ее глаза, выискивая в них хоть искорку интереса к нему или смущения, которое подсказало бы, что прошлое еще теплится в ее памяти.

– Помнишь хоть?

– Разве вас можно забыть? Одна ваша выходка чего стоит... Если бы не это...

– Замуж бы за меня пошла, – подсказал Костя, саркастически усмехнувшись.

Из двери слева вышла старушка с каким-то расхлябанным криволапым догом на поводке, сказала Дале: «Здравствуй-те, милочка», – и хотела получше рассмотреть Костю, но дог дернул за поводок и утянул ее вниз.

Минуту они слушали урезонивающий собаку голос старушки, ее шаги, жестяное позвякивание ошейника и слабое цоканье собачьих когтей по мрамору ступеней. Потом глухо хлопнула дверь, и стало тихо.

Молчали и Даля с Костей. И это молчание не казалось странным ни ей, ни ему. Куда теперь торопиться и кто помещает им рассказывать о себе?.. Глаза Дали то ласково прищуриваются в ответ на какое-то движение на лице Кости, то настораживаются и ждут чего-то, то учтиво блуждают по его щеголеватой фигуре... Но вот ее щеки тронул румянец. Она говорит:

– Меня не узнать, наверно, да?

Костя молчит. Его нисколько не смущает ни дородность Дали, ни ее замужество. Он пытается рассмотреть что-то другое, что-то свое, выискивает какие-то приметы, которые подсказали бы ему, что они могли прожить вместе последние пятнадцать лет, что это не было невозможно...

– Замужем? – спросил Костя, коротко взглянув на ее кольцо.

– Была. Давно. – Она как бы невзначай подогнула безымянный палец, пряча кольцо.

– Дети?

– Сын Димка, – улыбнулась она и, словно одолев невидимую гору, глубоко вздохнула. – Как вы здесь оказались?

– Ночевал у одного друга... По уважительной причине.

И, вспомнив о похоронах, о том, что на свете больше нет Лютрова, Костя, как в утешение себе, протянул руку, коснулся пальцами горячей щеки Дали и, чувствуя, как она податлива, послушна его ласке, произнес осевшим от волнения голосом:

– У тебя... кефиру не найдется?

Собираясь по утрам в комнате отдыха, летчики всякий раз подолгу обсуждали все, что удавалось выяснить комиссии, расследующей причины катастрофы С-224. Однако с каждым днем новостей становилось все меньше, а из того, что было выявлено и представлялось бесспорным, более всего озадачивали три обстоятельства, и если бы удалось доказать, что они совпали во времени, то конечные, непосредственные причины происшедшего можно было бы считать установленными: такое совпадение неизбежно должно было привести к катастрофическому развитию событий в воздухе. Состояние механизмов на обломках крыльев подтверждало, что в момент разрушения закрылки были выпущены, однако тумблер управления ими стоял в позиции «убрано». Эти два обстоятельства усугублялись третьим: положение скоб-защелок управления форсированным режимом двигателей свидетельствовало, что форсаж был включен. Все это невольно наводило на мысль: или неизвестно, почему предательски сработал сигнал «закрылки убраны» в то время, когда они оставались выпущенными, и тогда становилось понятно, почему Лютров включил форсаж, или он сделал это, не дождавшись светового сигнала, подтверждающего, что закрылки убраны, то есть по каким-то причинам произвел действие, которое привело самолет к разрушению, потому что разгон с

неубранными закрылками сообщает крыльям нагрузки, каких конструкция не в состоянии выдержать. Но ошибка выглядела столь грубой, что никто или почти никто из членов многочисленной аварийной комиссии не принимал такое объяснение катастрофы; слишком оно не соответствовало профессиональной репутации летчика.

Многие вообще считали, что Лютров не включил форсаж; скобы-защелки управления форсированным режимом двигателей легкоподвижны, рассчитаны на небольшое усилие пальцев левой руки, и потому во время удара головной части фюзеляжа о землю могли быть сдвинуты силой инерции.

После множества рабочих совещаний аварийной комиссии, после кропотливого сопоставления «технических экспертиз, догадок, предположений было объявлено о расширенном заседании, на котором надлежало обсудить предварительные выводы расследования.

За полчаса до начала, заглянув в библиотеку за последней книжкой Британского авиационного ежегодника, начальник бригады ведущих инженеров Володя Руканов встретил там Льва Борисовича Фалалеева, бывшего неизменным почетным членом библиотечного совета, что давало ему право перелистывать и даже брать с собой свежие иностранные, чаще американские журналы, хотя все его знаний английского едва хватало на переводы подписей к веселым картинкам из «Популар сайенс».

Перекинувшись с Володей несколькими словами о гибели Лютрова, Фалалеев с сожалением заметил, что «техническая культура» нынешнего поколения летчиков фирмы все еще, увы, не отвечает задачам дня.

– А это, дорогой Володя, сказывается, ох, как сказывается! Я уже не говорю о слабом знании методики испытаний. Сплошь и рядом не хватает элементарной летной грамотности. Возьмите Боровского. Помните, как он «мужественно» втемяшился в грозу?

Руканов кивнул, хотя и не очень понимал, каким образом «корифей» попал в «нынешнее поколение летчиков».

– Но у нас – как? Вместо того чтобы отправить на пенсию, собираются посадить начальником летного комплекса. Что вы скажете? Этого дуба!..

Володя насторожился, хотя и не подал вида, что впервые слышит о возможном назначении Боровского на эту должность.

– Думаете, Соколов утвердит? – с деланной небрежностью заметил Володя. – Судя по тому, как он разговаривал с Боровским после катастрофы «семерки»... Вы меня понимаете?

Уловив доверительность в тоне Руканова, Фалалеев взял его под руку и увлек в коридор, чтобы продолжить разговор уже «сугубо конфиденциально».

– Я собираюсь дать статью, – со значением сказал Лев Борисович. – Нужно, знаете ли, показать истинное значение по-

добного «мужества», поставить все на свои места. Не могли бы вы более подробно осветить разговор Главного с летным составом?

Руканов не заставил себя просить. И в заключение присо-вокупил, что среди летчиков не нашлось ни одного, кто бы встал на защиту Боровского. Последнее замечание, как рас-судил Руканов, не могло быть безразлично Фалалееву. Они понимали друг друга.

Говоря о том, что среди летчиков у Боровского нет дру-зей, Володя не лгал. Но среди них были такие, которым сим-патизировал Боровский. Их было немного. Всего дважды на памяти Руканова «корифей» высказывал свои симпатии: в первый раз – Долотову, когда тот начал летать на «семер-ке» («Этот парень заставит себя уважать»), второй – Лютро-ву, когда встал вопрос о втором летчике на С-44, на тот са-мый самолет, на котором Боровский «втемяшился в грозу» во время сверхдальнего перелета. Лютрова нет. Остался До-лотов. Что он за человек, Володя хорошо представлял себе по не имевшему прецедента отказу Долотова летать с Тре-филовым. Так мог поступить только человек, который слиш-ком уж независим в своих поступках, и потому в качестве сторонника Боровского Долотов был опасен для Володи.

На первый взгляд это была невесть какая причина опа-саться Долотова, но только на первый взгляд. Люди того чи-новного, административного толка, к каким принадлежал Руканов, обладают особым чутьем – умением угадывать в

сослуживцах заключенный в них потенциал враждебного, не только у тех, кто угрожает оттеснить коллегу и занять его место, но и у людей, не имеющих никакого отношения к заботам подобного рода, у свидетелей, работающих рядом, «при том присутствующих», умом ли, свойством ли характера склонных противостоять честолюбивым поползновениям кого бы то ни было. Таким человеком, с потенциалом враждебного Володе, вполне мог оказаться Долотов, с его непочтением к авторитетам, с его недобрый умом, с его репутацией одного из лучших летчиков фирмы. И поскольку теперь вошло в моду проводить широкое обсуждение кандидатов на все сколько-нибудь значительные должности, то можно не сомневаться, что Долотов не преминет встать на сторону Боровского. Вот почему коснуться Долотова жесткой начальственной дланью, дать понять «этому грубияну», что с ним, с Рукановым, ссориться накладно, было для Володи необходимым упредительным маневром его чиновничьей стратегии. Для этого вскоре будут и время и возможности: начальник отдела летных испытаний – он же исполняющий обязанности начальника летного комплекса – Данилов ложится в больницу с язвой желудка, и уже заготовлен приказ о временном назначении на его место Руканова. Вполуха слушая Фалалеева, пространно излагавшего тезисы будущей статьи, Володя на скорую руку освежал в памяти все, что «водилось» за Долотовым, то есть какие у него были взыскания, летные ошибки, «моральные отклонения» и т. п. Так ли уж крепко

он стоит на ногах?.. Два выговора, отстранение от полетов на С-14, недавний слух о разрыве с женой. Руканов не забыл и упоминание Трефилова о какой-то темной истории в училище, в которую был замешан Долотов. Что-то, связанное то ли с покушением на жизнь, то ли со зверским избиением инструктора... Правда, по словам Трефилова, прямое участие Долотова осталось недоказанным, но в таких вещах и подозрение – дело нешуточное, так просто не стряхнешь с себя, и, будучи извлеченным на свет, оно хоть кого заставит съеститься.

Что касается Боровского, то Володе ничего не оставалось, как только подождать результатов задуманного Львом Борисовичем, у которого – Володя это прекрасно знал – были веские причины для сведения счетов с «корифеем».

...В конце пятидесятых годов, во время испытаний прототипа С-44, Боровский, которому надоела «эта беготня» по аэродрому, решил «подлетнуть» – оторвать самолет от бетона и тем закончить затянувшуюся программу наземных испытаний. Машина, по его словам, «просилась в воздух». Разогнав самолет, Боровский па считанные метры оторвал его от земли и не мешкая прижал к бетону. Тут-то и отказали тормоза, а скорость и малое расстояние до конца полосы усугубили положение до аварийного; в ту пору в этом месте даже на грунт нельзя было свернуть: с одной стороны рыли ямы под фундамент будущего ангара, а с другой вдоль речного обрыва тянулась ограда аэродрома.

И все-таки Боровский нашел выход. Перед стартовой площадкой, где взлетная полоса и рулежная дорожка, сходясь, образовывали широкое бетонное поле, Боровский, уже распорядившийся выключить все двигатели, кроме одного, крайнего, приказал сидевшему справа Фалалееву дать полные обороты оставленному в работе мотору. С-44 круто развернулся, докатил, гася скорость на развороте, до песчаной насыпи у фундаментного котлована и встал, ткнувшись в нее лопастями винтов. Если не считать погнутых винтов самолет не имел повреждений, но, вздумай Боровский развернуть машину в этой ситуации не двигателем, а поворотными колесами шасси, последствия оказались бы намного серьезнее.

И не только для самолета. За рулежкой наблюдал заместитель министра, приехавший на базу вместе с Соколовым. Едва экипаж выбрался из РАФа, как Боровскому сообщили, что летчиков вызывают для объяснений. «Кто вызывает?» Нарочный назвал фамилию. «У меня нет такого начальства», – отозвался Боровский и пошагал в раздевалку. А члены экипажа – Карауш, Козлевич и Фалалеев, ничего не поняв в намерениях командира, послушно двинулись за нарочным. И когда замминистра спросил, что произошло, Фалалеев, которому ничего не стоило, не погрешив против истины, объяснить аварию неисправностью тормозов, поторопился заверить высокое начальство в своей невиновности.

– В задании подлет не предусматривался' Боровский ре-

шился на него самовольно! Это хорошо еще, так обошлось!
– Снять с машины! – приказал замминистра.

Когда он отбыл, Фалалеев стал сокрушаться на глазах Соколова:

– Удивляюсь я Игорем Николаевичем! Брать па себя такую ответственность!..

Соколову стало не по себе от этого умышленно-наивного рвения. – Иди с богом. Ты все сказал.

В это время пришел вызванный Главным Боровский, Фалалеев как ни в чем не бывало в очень дружеской манере зашептал на ухо «корифею»:

– Знаете, тут были товарищ...

– Знаю, – перебил его Боровский. – Без мыла лезешь.

Фалалеев словно подавился, выслушав это замечание на глазах Соколова.

С той поры у Боровского вошло в привычку называть пройдох всех мастей «фалаями», а с самим Фалалеевым «корифей» не разговаривал, точно не замечал его.

...Вспомнив все это, Володя доверительно заглянул в глаза Льву Борисовичу.

– Пора. Вы не собираетесь послушать многомудрых мужей?

Фалалеев кивнул, безоговорочно соглашаясь с такой характеристикой членов аварийной комиссии, и обезоружено развел руками, как человек, положение которого вынуждает присутствовать на всех, в том числе и на заведомо глупых,

церемониях, хотя положение пенсионера ни к чему его не обязывало.

Послушать комиссию собрался почти весь летный состав. На расставленных вдоль стен кабинета стульях расположились Боровский, Костя Карауш, Извольский, штурманы Са-етгиреев и Козлевич, бортинженер С-224 Пал Петрович и командир нового лайнера Чернорай со своим экипажем, в составе которого был и недавно назначенный на самолет ведущим инженером (взамен Руканова) Иосаф Иванович Углин. А у длинного, покрытого зеленым сукном стола сидели конструкторы КБ, начальники отделов, эксперты министерства, заместитель Главного конструктора Разумихин и начальник летно-испытательной базы Савелий Петрович Добротворский. Данилов на правах председателя комиссии вел заседание. Рядом с ним устроился Руканов.

Долотов сидел в дальнем углу и, разглядывая выступающих, невольно отмечал про себя, что все те, чье мнение он хотел бы услышать, молчат. Молчал начальник отдела силовых установок Самсонов, молчал гидравлик Журавлев, молчал Боровский, молчал старшин летчик фирмы Гай-Самари, по обыкновению молчал Руканов, разглядывая заусенцы у ногтей. И только ведущий инженер Ивочка Белкин (которого, как и Руканова, никто из летчиков не называл по имени-отчеству, исключая, впрочем, Костю Карауша, из при-страстия, надо полагать, к необщим жестам, положившего

себе за правило произносить имя ведущего полностью: Ивон Адольфович), только он один много и складно говорил о невозможности таких-то и таких-то вариантов развития катастрофы, косвенно наводя на мысль об ошибке летчика, и при этом то и дело поглядывал на Долотова с таким выражением, словно все высказанное является прежде всего – комплиментом ему.

Но Долотов хорошо знал этого толстолицего, хотя и не толстого вообще молодого человека, из-за тяжелой грыжи ходившего мелкими семенящими шагами и так, будто при этом пользовался одними пятками, что придавало его ходьбе суетливо-озабоченную торопливость.

Долотов работал с ним два года. Впрочем, Ивочку нетрудно было узнать и за меньший срок. Он был весь на виду, ему и в голову не приходило, что он делает что-то не так, что в его поведении есть что-либо предосудительное.

– Понимаете, в наших интересах, – с очаровательной непосредственностью говорил он Долотову после своего назначения на С-224, – если при случае я буду ругать вас, а вы – меня: мы будем знать, что о нас думают.

– А мне наплевать, что о вас думают. Да и обо мне тоже, – ответил Долотов.

Когда Ивочка начинал говорить о работе «между нами, девочками», он касался только двух ее сторон: сколько времени протянутся испытания очередной модели, оборудования, узла и по какой категории будут оплачиваться. Никто

лучше его не знал, какие работы как оцениваются плановым отделом, сколько времени потребуется бухгалтерии для оформления закрытых программой полетных листов и от кого зависит, чтобы дело было ускорено. Добиться более выгодной работы, в сравнении с работой других ведущих инженеров, не попасть на «дохлый», тянувшийся годами заказ, поднять шум, если кто-то из коллег опередил его по среднему заработку, – на все это Ивочка тратил больше энергии, изворотливости, чем на самую работу. Его гражданское сознание определялось в день получки: чем больше была цифра в платежной ведомости, тем лучше обстояло дело в текущей пятилетке; падение заработка немедленно вызывало у Ивочки критику существующего порядка вещей.

– Мастер у Форда – мастер – имеет пятьсот долларов в месяц! – оскорбленно говорил Белкин, встряхивая карманы брюк с просторной, как у турецких шаровар, мотней.

– Дурило! – отзывался Костя Карауш. – Там чихнуть негде без зеленой бумажки, а ты платишь три червонца за путевку в санаторий, которая стоит полтора рэ.

Год назад, на южном аэродроме, после нескольких полетов, в общем не сложных, но стараниями Белкина оплаченных по высшей категории, он не отказал себе в удовольствии заметить с покровительственно-самодовольным видом, что, мол, за эту работу Долотову следует поблагодарить его, Ивочку. Сказано это было во время обеда в столовой. Взявшись за бутылку боржоми, Долотов так и застыл, впив-

шись глазами в оторопевшего Ивочку.

– Что ты сказал? Мне благодарить тебя за работу? Ты считаешь себя моим благодетелем?

Никогда ни до, ни после Белкин не видел у Долотова такого выражения лица. Косясь на бутылку, которую судорожно сжимали пальцы Долотова, Ивочка не на шутку струхнул, хотя искренне не мог понять, чем оскорбил человека.

Выручил Пал Петрович.

– Брось, Борис Михайлыч, – сказал он. – Это у него в роду. Всяк свое несет. Мать у него такая же, – продолжал Пал Петрович, когда Ивочка убрался из-за стола. – В нее... Отец был военным, понимающим, да рано номер.

После войны семья Белкина некоторое время проживала в одной квартире с Пал Петровичем. Все в доме в ту пору еще перебивались с хлеба на квас, а мать Ивочки быстро раздобыла, приобрела выразительный облик тех дебелих, хорошо откормленных дам, каковых отличают заплывшие талии, дорогие шубы, полновесное золото в ушах, карминовые губы и хамоватая агрессивность в общении с посторонними.

– Чего вылупилась на девчонку? – одергивал ее муж, когда она принималась выговаривать продавщице. – Она в шестнадцать лет работает, а ты в тридцать комбинируешь!

Муж знал, что говорил. Летом 1947 года мамаша Ивочки продала оставшийся после отца дом в Кишиневе, а перед денежной реформой по совету «знающего человека» уговорила подчиненного мужу старшину раздать вырученные день-

ги по две-три тысячи рублей солдатам, с тем, чтобы они положили эти деньги на сберегательные книжки. Таким образом, после реформы Ивочкина мама «имела тысячу процентов прибыли». Муж устроил ей «варфоломеевскую ночь», да с нее как с гуся вода. Даже ехать с мужем к месту его нового назначения отказалась.

– Это надо быть малахольными, чтобы бросать город, когда жизнь, слава богу, налаживается! – кричала она. – Что мне твои ордена, если тебе не могут дать приличной должности в городе? Сегодня восток, завтра запад, а потом? Северный полюс? А мне покупать рыбу у белых медведей?

– Все на свой лад вершила, – говорил Пал Петрович, – Даже супругу сыну сама подыскала, такую же пройду, только помоложе.

Глядя теперь на Ивочку, Долотов все сильнее раздражался из-за явного намерения Белкина дать понять, что вот он, Долотов, налетавший на С-224 «слава богу», никогда не допустил бы такого промаха, который мог привести к катастрофе.

«Тебе со мной работать, вот ты и елозишь, – думал Долотов, наливаясь тяжелой, как хворь, злобой. – А угробился бы я, то же самое говорил бы Лютрову».

Долотова оскорблял не только этот сомнительный комплимент, его приводила в бешенство сама причастность Белкина к событию; со всем тем, что «нес» в себе Ивочка, он не имел права прикасаться к памяти Лютрова, к его имени. Долотов вспомнил, как рыдал на похоронах Костя Карауш,

вспомнил Пал Петровича, потерявшего сознание при первых ударах молотков рабочих, заколачивавших крышку гроба, вспомнил пролет Гая на истребителе над погостом – последнюю почесть погибшему – и, не в силах долее слушать Ивочку, грубо оборвал его:

– Тебя послушать, так вообще неясно, на кой черт собралось тут тридцать человек! Чего проще – делать выводы из того, что ясно, и закрывать глаза на то, что ни в какие ворота не лезет. Ты можешь доказать, что механизм работы закрылков был исправен? Нет, Почему тумблер стоял в положении «убрано»? Нет. Вот и кончались твои рассуждения.

– Ну что тумблер, – протяжно отозвался Белкин, вскидывая подбородок, насколько позволяла его толстая шея, и поводя головой слева направо, как бы взбираясь поверх сказанного Долотовым. – Тумблер можно зацепить рукой случайно.

– А если случайно сработал сигнал «закрылки убраны»? Если форсаж вообще не включался?

Белкин криво улыбнулся, поискал среди присутствующих, кому бы с надеждой на сочувствие намекнуть: как вам нравится, он меня за дурака считает! Никто, однако, не выставил себя навстречу Белкину, и только Володя Рукавов едва приметно кивнул, принимая апелляцию, даже не кивнул, а утвердительно прикрыл веки.

«И этот чистюля», – неприязненно подумал Долотов, вспомнив привычку Руканова разглядывать хорошо вычи-

ценные ногти.

«Но почему молчит Журавлев? – Долотов поглядел на гидравлика. – Он же один из главных экспертов».

А Журавлева, человека с больным сердцем, одолевали совсем другие заботы. Уезжая на базу, он оставил в больнице дочь, у которой вдруг обнаружились нарушения ориентации движений, головокружения, словом, какая-то болезнь вестибулярного аппарата. Девушка заканчивала институт востоковедения, готовилась к экзаменам, защите диплома, и вот... Мало было в доме его хворобы! Журавлев собирался взять отпуск, но, человек деликатный и мнительный, он опасался, что его уход может быть истолкован, как равнодушие к чрезвычайному происшествию, которым занимались начальника почти всех отделов КБ. Будучи гидравликом, по чьим проектам создавались первые гидравлические системы на самолетах Соколова, Журавлев понимал, как много ждали от анализа состояния подопечных его отделу систем на С-224, но не мог сделать даже предположительных выводов о причине катастрофы. В голове его неожиданно переплелись по признакам подобия оба события: болезнь дочери, начавшаяся тем, что она ни с того ни с сего упала прямо на улице, и катастрофа С-224. Странная параллель навязчиво возникала в голове Журавлева: ему казалось, что и в том и в другом случае имело место нарушение координации движений. И потому на память приходили только такие неисправности, влияние которых на доведение С-224 можно было сравнить с влия-

нием болезни дочери на ее способность передвигаться. Мало-помалу он стал отождествлять то, что называют вестибулярным аппаратом, с тем, что он хорошо знал и что называлось гидравлической системой самолета. Дочь в тот день добралась домой с помощью какого-то школьника, славного мальчугана. А когда на борту отказывают обе независимые друг от друга гидравлические системы, роль школьника выполняет аварийная «третья» – автономная, приводимая в действие турбонасосами¹. Правда, аварийная далеко не так мощна, как те, что связаны с энергетикой двигателей, однако ее мощности достаточно, чтобы довести самолет до ближайшего аэродрома и приземлиться в случае отказа основных систем. Долотов когда-то испытывал «третью», умышленно отключая обе главные. Сначала, имитируя посадку, «сажал» С-224 на облако, потом сделал несколько посадок на полюсу. Но как ни старался Журавлев, он не мог решить по тому, что осталось от самолета, включал ли Лютров турбонасосы? Если бы это удалось установить, то, как минимум, определились бы зоны поиска.

«Нужно искать слабое место во всем новом, во всем отличном от испытанных конструкций. Может быть, даже не в новых агрегатах, во в новых узлах, тысячекратно проверенных на земле, а в тех второстепенных деталях, конфигурацию которых меняют из-за особенностей компоновки си-

¹ Энергетическое устройство, приводимое в действие встречным потоком воздуха.

стемы на новой машине, — думал Журавлев. — Губительная случайность, ворвавшаяся в логическую систему конструкции, почти всегда покоится на очень неприметной неисправности. Скорее всего летчик здесь ни при чем. Может быть, в другое время я бы смог как следует подумать, составить соответствующую программу стендовых испытаний, но сейчас мне трудно. Нужно узнать, что с моей девочкой, потом уже...»

Заметив некоторую несдержанность и раздражение Долотова, Данилов вспомнил о недавнем звонке известной ему Риты Арнольдовны, сообщившей о том, что, «как она и предчувствовала», Долотов «уже не живет с семьей». «Вы знаете, что в этих случаях делают? — спросил Данилов. — Нет? Вот и я не знаю».

— Трудно, Борис Михайлович, — в неопределенном тоне заговорил он в ответ на реплику Белкина, — трудно предположить какую-либо иную причину взрыва, кроме разрушения конструкции. Но как все началось, если Лютров вынужден был принимать чрезвычайные меры? Пожар? — Данилов повернулся к Белкину. — Увы, пожар оставляет время для покидания самолета, для связи с землей, для попытки посадить на вынужденную...

Белкин пожал плечами: вы, мол, начальство, вам виднее.

— Все склоняет к тому, что взрыв последовал во время разгона с неубранными закрылками, — продолжал Данилов. — А вот почему так случилось? — Данилов снова посмотрел на

Белкина. – Считать зафиксированное положение тумблера случайностью – это значит идти по линии наименьшего сопротивления. Были какие-то, пока нам неизвестные причины, которые заставили Лютрова делать все то, что он делал. Мы знали Алексея Сергеевича как летчика и как человека, у нас нет оснований приписывать ему ошибку, да еще столь грубую.

Данилов помолчал, как бы предлагая несогласным возразить, и, не дождавшись возражений, закончил:

– Все, чем мы располагаем, дает нам право только на предположительные выводы. Подождем, что скажут двигателисты.

...Получив докладную записку о результатах работы аварийной комиссии, Соколов позвонил на завод, чтобы узнать, нет ли чего нового в обследовании стоявших на С-224 опытных двигателей. Ему ответили, что покамест – ничего определенного: трудно установить, были ли неисправности в их работе; расследование затрудняют те повреждения, которые появились уже на земле – после падения и пожара. Заканчивая разговор, директор завода сказал:

– Мы собираемся заслушать всех тех, кто сейчас занят в комиссии. Отчет я направлю вам.

– Сообщите мне о дне совещания. Я тоже хочу послушать. Решение было вполне в духе Старика. Не раз случалось, что он не вызывал к себе представителей фирм, чьи изделия использовались на опытных самолетах (на что имел офици-

альные полномочия), а сам отправлялся туда, где эти изделия создавались. Вот и на этот раз он не посчитался с тем, что ему предстоит многочасовой полет в Среднюю Азию.

На С-224 решено было установить серийные двигатели и после стендовых испытаний всех систем жизнеобеспечения полета провести их контрольную проверку в полетных условиях.

В день первого вылета Пал Петрович явился на аэродром раньше своих подчиненных. Уже переодетый в мешковатый черный комбинезон поверх серого свитера с обвисшим воротником, он обошел вокруг С-224, поднял с бетона изогнутую стальную спицу – обломыш вращающейся автомобильной метлы – а направился к забору, отгораживающему стоянку самолетов со стороны здания летной части. Здесь было место для курения: скамья перед врытой в землю бочкой.

Робко – лужицами на припеке у ангарных ворот, тонкими сосульками под скатами крыш – начиналась весна. Снег на тропинках дымно поголубевшей сосновой рощи позади ангаров днем оседал, темнел, тяжелел и податливо сминался под ногами, а за ночь вновь успевал коряво остекленеть ледовой скорлупой, и на подтаявших ноздреватых боках сугробов кружевными террасками застывали острые слюдяные выступы.

На том краю рощи, что подступал к окнам летной части, вчера утром цыганской перебранкой заголосили грачи – худые, косматые, с руганью и потасовками делившие старые гнезда. Перебранившись и порастеряв перья, грачи уgomонились – время не ждет – и принялись одни поправлять старые гнезда, другие – строить новые.

За двадцать лет знакомства с аэродромом птицы привык-

ли и к людям, и к самолетам, и к реву двигателей. И теперь невозмутимо расхаживали по самолетной стоянке, парадно вышагивая рядом с такими же черными, как они сами, колесами шасси новенького С-224, незадолго до катастрофы перегнанного Долотовым с завода; птицы вели себя так, словно покрытая прозрачным лаком крылатая махина принадлежала к их грациному роду.

Дублер, как называли этот самолет в отличие от первого, головного экземпляра С-224, стоял отдельно от других машин, укрытый песочно-желтыми чехлами. Всякий проходивший мимо невольно оборачивался в его сторону, и, как думал Пал Петрович, не о скорости говорили взгляду человека оттянутые назад крылья, не о благодатной мощи — два спаренных двигателя, короткими стволами выступающие за хвостовое оперение и делающие эту часть фюзеляжа грубой и как бы бесформенной, а о чем-то таком, что пробуждает в душе людей недобрые чувства.

Пал Петрович курил, исподлобья поглядывал на дублера, сталкивал стальным прутиком пепел сигареты и думал о своем.

С некоторых пор старый механик сделался необщительным, неразговорчивым, выглядел неприветливо, реже брился, и оттого лицо его, грубо очерченное двумя глубокими складками от висков к подбородку, казалось совсем дряхлым, а серые глаза навывкате словно бы подались еще дальше вперед, как подпираемые изнутри.

Он почти не ругался теперь с мотористами из-за всякой малости, не кричал шоферу тягача во время буксировки самолета: «Не дергай, так тебя, не дрова везешь!..» Говорили, что Пал Петрович прихворнул, что собирается уходить...

Но не в этом была причина его угнетенного состояния.

Если бы спросили девушку-шофера, она совсем по-другому объяснила бы перемены в душевном состоянии Пал Петровича.

В день катастрофы С-224 Надя сидела в своем РАФе рядом со стоянкой опытных машин и читала выпрошенную на один день книгу («Интересная, спасу нет!» – сказала подруга). В ожидании, когда зарулит очередной самолет и из динамика на крыше здания летной части послышится команда: «Экипажу на отдых!..», – Надя так увлеклась «Королевой Марго», что не обратила внимания на затарахтевшие вертолеты, на проехавших мимо два больших автобуса, но, когда все стихло, она оставила книжку, огляделась и увидела Пал Петровича.

Он подошел к передней стойке шасси дублера – ссутулившийся, маленький, в непомерно широкой форменной куртке и вдруг изо всей силы пнул ногой в колесо самолета.

– У, рыло! – услышала Надя. – Загубила человека, чтоб ты подавилась! Не нажресси никак, струя вонючая!

Надя всегда побаивалась сердитого механика, а эти злые слова, обращенные к самолету, вдруг напомнили ей о вертолетах и автобусах, о всея промелькнувшей суете, и тогда На-

дя поняла, что случилось несчастье. Потом посыпал снег, и она потеряла из виду Пал Петровича, медленно пошагавшего в сторону одноэтажного здания аэродромных служб... С тех пор всякий раз, когда Надя видела Пал Петровича сидящим где-нибудь в сторонке, она вспоминала его отчаянные слова, и ей становилось до слез жалко и Лютрова, и старого механика...

Со стороны казалось, что Пал Петрович тупо глядит на зачехленную машину, на даль аэродрома, но он никуда не глядел; так уж выходило, что не дома, а вот здесь, у самолетов, самые разные мысли уводили Пал Петровича так далеко, что он только вздыхал от всего, что приходило на память.

В тот день, когда на машину вместо Долотова пришел Лютров, все было как всегда. Только что окончилась предполетная прогонка двигателей и Пал Петрович отошел в сторону, кивнул молодому парню – стартеру, стоявшему в шагах от самолета, на выезде со стоянки, с белым и красным флажками, – и тот откинул в сторону левую руку.

Самолет покатил. Пал Петрович глянул на стекло кабины, встретился глазами с Лютровым, улыбнулся и показал кулак.

Лютров рассмеялся и кивнул: помню, мол, твой наказ не перегружать резину колес на крутых разворотах.

Подавшись вначале прямо на стартера-сигнальщика, С-224 описал любезный Пал Петровичу поворот, выкатил на рулежную полосу и скрылся за высоким забором, отделявшим летное поле от стоянки.

Некоторое время еще проплывал, возвышаясь над забором, скошенный киль самолета, но скоро и его не стало видно.

Пал Петрович был последним, кто видел Лютова в живых.

А на похоронах, когда пьяного Костю Карауша обуяло бешенство отчаяния, с Пал Петровичем стало плохо.

Таким Костю никто не помнил.

– Уйди! Прочь! – остервенело вскидывая голову и оскалив зубы, кричал он на рабочего кладбища; залитое слезами лицо Кости было страшно и почти безумно. – Зачем сюда пришел? Не имеешь права!

Все это он выкрикивал, опустившись на колени перед гробом, не давая рабочим наложить и заколотить крышку. Рабочие стояли в растерянности, ища глазами помощи у окружающих могилу людей.

Не сразу решившись на роль увещателя, к Косте наклонился Ивочка Белкин.

– Константин, зачем вы так? Нужно прилично себя... – с осторожной укоризной начал Белкин.

Лучше бы он молчал! Костя вскинул глаза на покрасневшее от натуги мясистое лицо Ивочки и оскалился как от боли.

– Ты!.. Прилично, да? Хочешь все прилично, все аккуратно? А может, я ненавижу твою приличную рожу! Я, может, одного Лешку за всю жизнь любил! Сволочь ты приличный!..

На! На! Держи!..

Он выхватил из рук рабочего молоток и, тыкая им в грудь оторопевшего Белкина, кричал:

– На, заколачивай! Торопись! Ну!

Тогда к Косте подошел Боровский. Он крепко обхватил его вокруг пояса и, обессилено плачущего, вдруг будто сло-манного, провел мимо расступившихся людей к своей «Вол-ге».

– Лешка-а! – срываясь на хрип, кричал Карауш. – Лютров!.. Командир!..

Боровский кое-как втиснул Костю на заднее сиденье, хлопнул дверцей и уехал.

И тут что-то расслабилось, распалось в груди Пал Петро-вича, все перед глазами отодвинулось куда-то, все стало без-различно... И очнулся он уже у себя дома, почувствовал за-пахи лекарств, увидел опухшее от слез лицо жены и тут же стал одеваться. Жена попыталась воспротивиться, а он взял да и накричал на нее, как на нерадивого моториста.

А когда впервые после похорон пришел на работу, ему по-казалось, что он только теперь разглядел, как изменилось все вокруг, стало незнакомо, как будто исчезло то, что связыва-ло его с делом, с другими людьми. Что-то, зная, оборвалось с последней улыбкой Лютрова, и небывалая пустота в душе мало-помалу одолевала Пал Петровича...

Старому механику горько было обнаруживать у Ивочки, да и вообще у молодых людей все то, что, по всем поня-

тиям Пал Петровича, давно должно было исчезнуть. Он не мог этого выразить, но хорошо понимал, чем отличительна была его собственная молодость в сравнении с молодостью Ивочки. В глазах Пал Петровича Белкин был Жалок в своем откровенном пристрастии к выгоде – тупому однозначному беспокойству, которому, как какой-то моде, были подвержены такие вот молодые люди, не понимавшие, сколь презираема во все времена была эта человечья сущность.

«Вроде при важном деле, гордиться бы должны, а предложи пуговицами торговать – уйдут, посули только оклад на рубль больше».

Пал Петровичу было двадцать пять лет, когда его направили на фирму Соколова, чтобы помочь собрать из старья, из сваленных на складе моторов РОН один – для помощника Главного конструктора, инженера Черемшинова, соорудившего странную летательную машину с огромным винтом на ней: раскрутившись, винт поднимал аппарат в воздух без разбега. У моторов РОН коленчатый вал во время работы оставался неподвижным, а вращалась «вся остальная требуха» вместе с несущими лопастями винта. Мотор не нуждался в набегающем потоке воздуха, вращаясь, он охлаждал сам себя, поэтому-то РОНЫ и были наиболее пригодны для аппарата Черемшинова, которые теперь называют вертолетами, а тогда, в 1932 году, именовали геликоптерами.

Черемшинов, летчик-истребитель первой мировой войны, сам поднимался на своем сооружении на высоту в полки-

лометра, тогда это было неслыханно. Уже став профессором, он отвел целую страницу в книге своих трудов Пал Петровичу. «Выпустить летчика на таком аппарате, — писал он, — где отказ мотора несравнимо опаснее, чем на самолете, мог только человек, виртуозно владеющий механизмами, механик высочайшего класса. Прибавьте к этому, что серьезная неудача на испытаниях могла привести к дискредитации самой идеи постройки подобного аппарата. И если за несколько лет испытаний не случилось ни одного отказа в работе моторов, то лишь потому, что нашему делу отдал свой поразительный дар и золотые руки механик Павел Петрович Иванов».

Так писал Черемшинов в своей книге, которую преподнес Пал Петровичу с авторской надписью. Пал Петрович думал, что она затерялась при переездах с квартиры на квартиру или порвана и заброшена внуками, а сегодня утром, копаясь в комод в поисках чистой нательной рубашки, ненароком обнаружил книгу в нижнем ящике, под стопой чистого белья, старательно завернутую женой в свой еще девичий цветной платок. Пал Петрович вспомнил, как накричал на жену после сердечного приступа, и забыл, что искал в комод...

Еще с тех времен, о которых пишет Черемшинов, Пал Петрович имел обыкновение постоять с летчиком перед полетом, перекинуться словом, поглядеть ему в глаза, чтобы не сомневался... И тогда отрывалось и уходило в небо немного беспокойного сердца Пал Петровича. Вот почему он нико-

гда не уставал ругаться с механиками из-за не по правилам законтренной шплинтом гайки после переборки тормозов, из-за не вовремя отправленных на перепроверку бортовых противопожарных емкостей или не досуха протертого крыла, облитого при заправке керосином. Свою жизнь Пал Петрович прожил по простому правилу: делать все так, чтобы на душе было спокойно, а совесть чиста.

Но, с тех пор, как он работает под началом Белкина, а на С-224 летает Долотов, Пал Петровичу кажется, что привычное для него отношение к делу никому не интересно. Тому же Долотову... Это могло показаться странным, но Пал Петрович не любил Долотова, хотя, казалось, чем может быть недоволен бортинженер, если он готовит машину для хорошего летчика, если не нужно беспокоиться, что он сделает что-то не так, ошибется, поломает самолет, подведет наземный экипаж? Долотов умел все, что нужно было уметь летчику, и знал все, что нужно было знать. Но этот парень никому не показывал глаз, подходил к машине, ни на кого не глядя, был сам по себе, здоровался, если с ним здоровались, отвечал, если его спрашивали, но было видно, что он не верит ни в каких помощников, а значит, никакие помощники ему не нужны. Казалось, подстрой ему нарочно какую-нибудь каверзу, чтобы солоно пришлось в полете, он и тут найдется, молча «вправит мозги» самолету, а зарулит – не взглянет ни на кого, будто все так и должно быть. Хорошо ли, плохо ли подготовлен самолет, ты ли возился у машины спозаранку,

другой ли, – Бориса Долотова это меньше всего касалось. Он не нуждался ни в чьих подсказках, ни в чьем участии.

«Все они такие, теперешние, – невесело думал Пал Петрович, сгибая и разгибая стальную спицу. – Один заправил и уехал, другой настроил аппаратуру и ушел, третий отлетал и пошагал прочь... «Я свое сделал». И все вроде бы не знают друг друга...»

«Может, время теперь такое? Вон и Фалалеев статью какую-то о Боровском напечатал... Сочинил, будто тот по своей дурости вляпался в грозу и чуть людей не загубил. Вроде прохиндей какой. Это Боровский-то!..»

Пал Петрович не знал летчика-испытателя жаднее Боровского на работу. Чуть не все машины Соколова прошли через его руки. И за все – в газете на посмешище выставили. Да и кто – Фалалей! Одно звание, что летчиком был, а по делу – болтун болтуном, пять минут летал, месяц диссертацию строчил. Все на «летающие лаборатории» напирал. Поставят ему на старую машину десяток градусников для замеров температуры в салонах, вот тебе и летающая лаборатория. Плати, давай, по высшей категории. А нет, так из горла вырвет. Испытатель!.. Тьфу!..

А туда же...

– Начальству почтение! Как насчет топлива, дозаправлять будем?

К Пал Петровичу подошел моторист – молодой, полный парень в берете.

Ему пришлось повторить, прежде чем Пал Петрович понял, о чем его спрашивают. И, рассердившись на себя из-за обнаруженной перед подчиненным рассеянности, он, в свою очередь, сердито спросил:

– А кислородка где?

– Придет.

– Ты сначала кислородом заправь, а с топливом долга песня. Отгоняем двигатели, тогда и заправим. Чего стоишь? Звони, чтоб кислородку прислали! Чего они там чешутся?

Моторист ушел. Только теперь Пал Петрович заметил, что на заливной солнцем стоянке уже работают люди. Возле краснополосного пассажирского лайнера, который собирались перегонять в Москву на выставку, тонко повизгивали наземные генераторы, запущенные для проверки и настройки приборов. На двух С-04, выделенных для парадного пролета в День авиации, мотористы снимали и скатывали чехлы. А чуть в стороне от стоянки съезжались и становились в ряд неповоротливые топливозаправщики. А вот примчался и белоголубой РАФ Нади, доставивший к лайнеру экипаж Чернорая. Рабочий день начался.

Пал Петрович подкатил к С-224 невысокую стремянку и стал подниматься в кабину. Ему предстояло подготовить машину к первому вылету.

Начало рабочего дня было настолько неудачно для Володи Руканова, что на некоторое время вывело его из привычного, хорошо организованного душевного равновесия.

Вернувшись после методсовета в свой новый кабинет, он некоторое время безо всякой надобности перебирал и складывал бумаги на столе, пытаясь утверждением видимого порядка подавить внутреннюю растерянность. Из этого же стремления он снял трубку, позвонил Гаю-Самари и не в дружеском, как это было принято между ними, а в начальственном тоне попросил зайти.

...Володю раздражала не столько сама по себе неспособность подчиненного хорошо сделать все то, что представляло перед вышестоящими как сделанное им, начальником, сколько пренебрежение к такому порядку вещей. Тем более что сам Руканов отлично помнил и строго следовал правилам общения со старшими партнерами по «служебному спектаклю», где от нижестоящих требуется не только безукоризненное знание собственных реплик, но и умение подсказать, что следует отвечать на них тем, кто ведет главные роли. Так учил Володю отец, суфлер столичного театра, присовокуплявший при этом сакраментальную фразу: «Весь мир лицедействует». Вот почему Руканов никак не ожидал, что Ивочка Белкин, составивший программу начального эта-

па испытаний дублера, столь непростительно невежествен в правилах взаимоотношений начальников с подчиненными. Дело усугублялось еще и тем, что, несмотря на замещение Данилова, с Володи не снимались обязанности начальника бригады ведущих инженеров, и потому тема контрольных испытаний дублера, обоснованная отделами КБ – силовых установок, аэродинамики, шасси, прочности, автоматики, управления в другими – была направлена Руканову и как исполняющему обязанности начальника отдела летных испытаний, и как начальнику бригады. А значит, на него возлагалась прямая ответственность за составляемые Белкиным программы. И вот, положившись на Ивочку, Руканов подписал эту злополучную программу, которая затем была забракована методсоветом, как не только невыполнимая в установленное время, но и имеющая просчеты в последовательности проведения полетов. Ивочка же попросту перестарался: зная мнение Руканова о причине катастрофы С-224, верный себе Белкин решил, что Володя отнесется к серии полетов, уже проведенных Долотовым до катастрофы, как к формальности, и потому составил программу таким образом, чтобы «не тянуть резину», поскорее отделаться от этих «утешительных» полетов.

Сидевший на методсовете Долотов о чем-то коротко переговоривался с Боровским, неотступно глядя при этом на Руканова. И, памятуя о разговоре с Фалалеевым, Володя особо отметил это внимание к себе.

Совещание закончилось тем, что был утвержден всего лишь один – первый полет по программе. Белкина обязали в кратчайший срок составить новый перечень полетов «с учетом всех замечаний». Руканов думал, что дело обойдется без оргвыводов в его адрес, и собирался по-своему наказать Белкина, но неожиданно поднялся Боровский. С высоты своего роста он испытующе посмотрел на Руканова, потом повернулся к женщине – секретарю методсовета.

– Предлагаю записать в книгу протоколов, что со стороны исполняющего обязанности начальника отдела в данном случае не было должного контроля за составлением программы. – Боровский некоторое время молчал, затем повернулся к Гаю-Самари. – Что скажешь, Донат Кузьмич?

– У меня возражений нет. – Гай сказал это не колеблясь. – Может, у кого-нибудь есть другое мнение?

Других мнений не было, и Володя вынужден был выслушать всеобщее молчаливое согласие с предложением «корифея».

Теперь Руканов попросил Гая зайти, чтобы подписать характеристику Долотова, которую следовало приложить к числу других документов, обычно сопровождающих летчика во время медицинского переосвидетельствования. В отличие от программы полетов дублера эту бумагу составлял сам Руканов.

Пока Гай читал, Руканову позвонил начальник базы, чтобы сказать, что он ждет Разумихина, который собирается

проследить за вылетом дублера, и потому нужно задержать вылет до приезда заместителя Главного. Руканов попросил секретаршу пригласить к нему Белкина или Долотова, кто первым попадется на глаза. Между тем Гай уже взял авторучку, чтобы подписать характеристику, полагая, что она ничем не отличается от других, которые ему, как начальнику летной службы, надлежало удостоверить, по, пробежав глазами аккуратно отпечатанный на фирменном бланке и уже подписанный Рукановым документ, Гай-Самари отложил ручку.

В характеристике говорилось, что летчик-испытатель подполковник запаса Борис Михайлович Долотов работает на фирме с такого-то года, что за это время освоил более 50 типов самолетов, что он высококвалифицированный работник, то есть имеет отличную теоретическую подготовку и большой практический опыт, летает днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, указывалось количество часов налета вообще и – за межкомиссионный период, отмечалось, что Долотов – летчик-инспектор и в качестве такового выполняет много полетов для проверки техники пилотирования летного состава Министерства авиационной промышленности. Здесь все было, как надо, как есть на самом деле. Но в конце листа, где обычно ставится шаблонная для всех характеристик фраза: «В быту отклонений нет», было написано: «В семье не живет».

– Это что такое? – спросил Гай. – Зачем это?

– Что значат зачем? Здесь указано действительное поло-

жение вещей. – Руканов старался говорить строго и убедительно.

– Вот как? Ну, если ты такой педант, объясни, как может противостоять понятие: «В быту отклонений нет» понятию: «В семье не живет?» – Гай едва сдерживал раздражение.

– Неужели неясно, Донат Кузьмич?

– Послушай, разве нельзя жить в семье «с отклонениями», а в одиночку «без отклонений»? Или стоит мужу уйти от жены, как он лишается звания порядочного человека?

– Я это не утверждаю.

– Тогда что-нибудь одно: или ты меня за дурака принимаешь, или сам дураком прикидываешься. Или...

– Есть еще вариант?

– Да. – Гай выразительно помолчал. – Что ты имеешь против Долотова?

– Донат Кузьмич! – В голосе Руканова послышались нотки той нарочитой корректности, к которой прибегают, когда хотят показать, что собеседник переступил границы дозволенного. – До сих пор я считал, что обязанность руководителя...

– Не надо меня воспитывать! Мы не на профсоюзном собрании. Ты прекрасно знаешь, что эта каким-то идиотом придуманная фраза об «отклонениях» никому ничего не говорит.

– Вот видишь!

– Да! Пока она на своем месте. Но вот если ее нет, это

говорит слишком многое – тем паче, когда вместо нее вписано: «В семье не живет». Послать такую характеристику – это заставить главного врача госпиталя ломать голову, выискивать, что скрывается за этим примечанием – не запил ли человек, не хулиганит ли?

– Здесь значит не более того, что написано, – сухо проговорил Руканов.

– Тогда на кой черт понадобилось упоминать об этом? Руканов не нашел, что сказать, и Гай продолжал:

– Главный врач – дядя неглупый, и если он разберется в личной жизни Долотова, то прежде всего вынесет справедливое мнение, что подписавшие бумагу или дураки, или ненавистники. Это тот самый случай для нас, руководителей, – Гай выделил последнее слово, – когда следует хорошо подумать, чтобы избежать последствий.

– Даже так? – Володя усмехнулся. – Каких же?

– Таких, о которых говорится в поговорке: «На один раз ума не достало, до веку дураком прослыл». Если тебя это устраивает, меня нет!..

Руканов нервничал: вот-вот мог прийти Долотов, а Володе совсем не хотелось, чтобы тот понял, о чем разговор. Одно дело, когда твоя фамилия стоит среди пяти других на таком документе, разберись, кто составил его, и совсем другое, когда на нем уличающе вьется одна твоя подпись; ведь известно, что даже «ура» кричать одному не годится.

Долотов так быстро вошел, уже одетым в летный комбине-

зон, с закинутым за спину защитным шлемом в синем чехле, что Руканов едва успел убрать со стола злополучный лист. Заметив это его суетливо-вороватое движение, Гай больше не сомневался, что пресловутая фраза вписана Володей отнюдь не по простоте душевной.

– Вы меня спрашивали?

Не поднимая глаз от стола, Руканов почувствовал знакомый взгляд Долотова.

– Да, присядьте, пожалуйста.

– Говорите, мне некогда.

Руканов заподозрил уже, что выдал себя – если не Долотову, то Гаю – прятанием этой бумаги, и не тем, что убрал ее, а тем, как это у него получилось. Цепная реакция унижительных неудач сделала свое дело: Руканов сорвался «с резьбы», чего доселе за ним не замечалось.

– Всем некогда! – Голос его сорвался на какой-то петушиной ноте. – Вы думаете, у меня есть время заниматься вашими делами?

Долотов вопросительно посмотрел на Гая, тот, в свою очередь, не менее недоуменно уставился на Руканова.

– Какими делами?

– Такими! Из-за вашего поведения в семье!..

– Володя! – крикнул Гай и, не зная, что еще сказать, поглядел на Долотова, но тот уже выходил из кабинета.

Смуглое лицо Гая стало свекольно-красным. Некоторое время он вышагивал вдоль окон кабинета, обращенных на

летное поле, пытался успокоиться и, не совладав с собой, заговорил так, как никогда и ни с кем не говорил:

– Кто дал тебе право быть судьей чужой совести? Кто позволил тебе говорить ему такое? Да еще перед полетом? Ты подумал, что твои слова будут давить ему на затылок, пока он будет в воздухе? Называешь себя руководителем, а вместо того чтобы в интересах дела побеспокоиться о самочувствии летчика перед вылетом, самым диким образом взвинчиваешь ему нервы!

Появление в кабинете Белкина принудило Гая замолчать, а когда тот вышел, повинувшись нетерпеливому жесту Руканова, Гай закончил немного спокойнее:

– Вот что, друг, тебе нужно очень старательно учиться работать с людьми. Запомни мои слова. А характеристику или перепиши, или будем говорить у начальника базы.

И, не дожидаясь ответа, Гай выскочил за дверь.

Пал Петрович заканчивал гонять двигатели.

Передвинув пластиковые ручки секторов газа, он выстроил стрелки указателей оборотов двигателей в одинаковое положение и неотступно следил за ними и за всем комплексом моторных приборов. За его спиной, за выхлопными отверстиями двигателей бушевал ураган, оглашавший аэродром тем особенным сдержанно рокочущим звуком, в котором угадывалась еще не освобождения до конца сила, как будто недоумевающая по этому поводу.

Но вот Пал Петрович включил форсаж, и все на километ-

ры вокруг потонуло в торжествующе-адском грохоте.

«...Этим жестянкам наплевать, кто на них будет летать, — думал Долотов, с усилием, будто против ветра, шагая сквозь грохот. — Вот как убого выглядит все го, во что исходит моя душа, моя жизнь».

И как в отчаянном крике в ночи угадывается не только зов о помощи, но и злодеяние и бедственное бессилие человека, этот громогласный рев воспринимался Долотовым, как содержащий в себе и дикое торжество враждебных сил, и неоспоримые приметы его поражения...

Когда он подошел и стал подниматься по стремянке, Пал Петрович уже закончил подготовку самолета к вылету и стоял у консоли крыла, немного исподлобья глядя, как Долотов, тонкий и ловкий, с привычной легкостью забрался в кабину и опустился в кресло. А после того как над его головой захлопнулась остекленная крышка фонаря, старому механику, как всегда, показалось, что Долотов спешит отгородиться от всего на свете.

Но все было не так.

Долотов садился в самолет с таким чувством, будто делал это в первый раз. Он не обнаруживал себя на своем месте в машине, на которой отлетал два года. И рядом не было второго летчика, живой души. Не было во второй кабине и штурмана, потому что не было второй кабины.

Пришел на память давний разговор с военным летчиком. Они испытывали ракеты, стартующие под крыльями само-

лета-носителя. Вначале летали по очереди. Потом самолет стал поднимать в воздух две ракеты разом; одну под левым крылом, другую под правым. И как-то перед пуском Долотов, сидевший в правой ракете, услышал в своих наушниках: «Боря, а вдвоем совсем другое дело!» – «Ты же не видишь меня?» – «Как не вижу, вон конец твоей подвески!»

Великое дело – второй летчик. Просто человек рядом, когда неумога одному.

Сам того не замечая, Долотов старался сесть поудобнее, пытаясь убедить себя, что все дело в перерыве, «в отвычке», – стоит только оторвать машину от земли, и они начнут как следует понимать друг друга. Тогда все восстановится, все вернется к нему, и кабина не будет казаться колодцем, железной дырой...

Он принялся делать предполетные включения, блуждая по тумблерам в полузабытом порядке. Память казалась неповоротливой, каждое движение сопровождалось неуверенностью, сковывалось подозрением, что он делает что-то не так. Холодя шею, от висков стекали капельки пота.

А как просто садиться в кабину, когда в тебе жива постоянная способность проникаться уверенностью, что ты со всеми своими чувствами понимаешь машину и, оторвавшись от земли, тебе затем ничего не стоит «сойти с неба» на землю со скоростью под триста километров в час, прижаться колесами, в которых тоже частица твоих способностей, твоих мускулов, к неподвижной земле, готовой покорно, в спо-

койном согласии с твоим умением принять тебя, как в ладони, на бетонной равнине.

Как и куда исчезает все это? И почему? Долотов не знал. Ему казалось, что все, что он думал сейчас, что испытывал, несвойственно ему, алогично, болезненно, приходящие на ум слова были как будто не его и сам он – непонятен себе, и все то, чем и как он пытается справиться с собой, похоже на заклинания. А ему нужна ясность, трезвость, привычная последовательность и точность в общении с самолетом.

Это было самое худшее, что только может навалиться на летчика – боязнь летать. Эта напасть, это всеразрушающее состояние часто необъяснимо, неизвестно как появляется и неведомо отчего исчезает. Но когда оно охватывает человека, то от одного предощущения полета, от сознания необходимости садиться в кабину, захлопнуть над собой остекленную крышку фонаря и остаться одному, ощутить на ставшей болезненно чувствительной коже широкие жесткие ремни кресла, прикасаться пальцами к стальным замкам-застежкам, а затем почувствовать себя связанным со слепой силой самолета, с его способностью подняться на многокилометровую высоту и носиться там с неистовой скоростью, – от всего этого сам вид самолета вызывает отвращение. Еще до того, как подойдешь к нему, заберешься в кабину и, путаясь в каждом движении и обливаясь холодным потом, станешь включать и опробовать, что нужно, еще до всего этого боязнь полета выливается в гибельное подозрение в твоей неумело-

сти управлять машиной, в абсолютной неспособности твоего опыта, в неправильности твоих знаний, в неумении распорядиться ими. Тебя одолевает глубокое, неверие в надежность машины, чувство твоей несоединимости с ней, чужеродности, а твоя жизнь в сравнении с риском потерять ее – такой неравной самолету, что начинаешь всерьез воображать себя приговоренным разделить судьбу с роботом...

У только что вернувшейся к зданию летной части девушки-шофера екнуло сердце, когда она заметила бегущего со всех ног к РАФу Гая-Самари. «Господи, опять что-то случилось!...»

Запуская мотор, Надя лихорадочно перебирала в памяти всех, кого сегодня подвозила к самолету: Чернорая с экипажем, улетевшего в Москву, Боровского и Извольского, чуть не каждое утро летавших на парадных самолетах. Кого еще? – К дублеру, голубушка!.. Побystрее, милая!

«Уж не решил ли Борька, что милое заявление Володи появилось на свет при моем участии?...» – думал Гай, сидя в РАФе. Но тут же он отбросил эту мысль – и потому, что она показалась дикой, и потому, что главной заботой сейчас для него было не гадать, что думает о нем Долотов, а «отбить» вылет дублера.

«Каким же глухим занудой надо быть, чтобы сказать такое человеку перед полетом!» – Гай-Самари легко представил, что творится теперь в душе Долотова.

Дублер стоял там, где обычно стояли опытные машины – возле ближнего к зданию летной части отбойного щита, тянущегося от въезда на стоянку до рулежной полосы, вдоль которой располагались бытовые помещения, мастерские и различные склады службы эксплуатации самолетов.

Над срезом кабины, за стеклами фонаря Гаи приметил склоненную голову в защитном шлеме: Долотов занимался предполетными операциями. К приставленной к фюзеляжу стремянке неторопливо шел Пал Петрович, как видно, собирався откатить ее в сторону.

При виде насупистого лица бортинженера Гаю стало полегче.

«Ты-то мне и нужен, дорогой!»

Не дав Пал Петровичу оттащить стремянку, Гай осторожно взял его под руку и, увлекая подальше от мотористов, негромко сказал:

– Дело есть, Пал Петрович... Тебе как Долотов показался? В смысле настроения?

– Настроение? Хрен его разберет, какое у него настроение. Всю дорогу как мешком из-за угла трахнутый. А что?

– Не годится ему сегодня летать, нужно «отбить» полет, понимаешь? Я не могу тебе сказать, в чем дело, но у него на душе неладно. Сделай что-нибудь, а?

– Понял, Кузьмич. Сделаем.

Все так же медленно ступая по пупырчатым ступенькам стремянки, Пал Петрович поднялся вровень с головой До-

лотова.

– Ты вот что – вылазь! – сказал он, махнув рукой. Долотов откинул фонарь, переспросил: ему плохо было слышно с застегнутым шлемом.

– Вылазь, говорю! – крикнул Пал Петрович.

– Почему? – Долотов смотрел на бортинженера.

– Почему, почему... ВСУ² не работает. Говорю, вылазь! Полетишь, когда машина исправная будет!

Долотов посмотрел на РАФ, возле которого с независимым видом прогуливался Гай-Самари, и снова поднял глаза на Пал Петровича.

– погоди, тут, говорят, Разумихин. Специально приехал. Тебе же попадет.

– Не твоя забота.

Долотову пришлось выбирать. А когда он спустился на землю, снял шлем, уложил ремешки внутрь каски и сунул ее в синий чехол, то вспомнил, что здесь только что был Гай. Долотов огляделся, но ни РАФа, ни Гая уже не было видно. И только неведомо откуда примчавшийся Белкин в отчаянии взмахивал руками, выслушивая Пал Петровича.

Едва Долотов поднялся в диспетчерскую, туда вошел Гай-Самари – его вызвал по телефону Добротворский. С первых же слов Долотов понял, что он тоже имеет касательство к разговору.

– Нет, Савелий Петрович, дублер сегодня не летал. Види-

² Вспомогательная силовая установка.

те ли...

– Вот и хорошо, – сказал Добротворский. – Я сейчас говорил с Соколовым, он велел наложить запрет на полеты до особого распоряжения.

– А что? Какая причина, Савелий Петрович?

– Журавлев обнаружил какой-то дефект в арматуре гидросистемы.

«Выходит, ты умница, – похвалил себя Гай. – Просто удивительный умница!»

«Что же он нашел?» – выслушав Гая, подумал Долотов и вспомнил встречу с Журавлевым.

Неделю спустя после заключительного заседания аварийной комиссии Долотов увидел гидравлика в коридоре инженерного здания КБ. Журавлев с подчеркнутой торопливостью посторонился и, застенчиво улыбаясь, поклонился с почтением, которое, несомненно, доставляло ему удовольствие. Немного смущенный этим церемонным, хотя и искренним, проявлением уважения, Долотов остановился: в подобных случаях всегда неловко пройти мимо, не перекинувшись словом.

Они поговорили о результатах работы на тренажере и сошлись на том, что тренажер штука хорошая, да всего не «обыграешь». А когда Долотов поинтересовался, как подвигаются испытания гидравлической системы С-224, Журавлев взял его под руку и провел в просторный зал лаборатории – стеклом, кафельными полами, белыми стенами и

белыми халатами рабочих напоминавшей какое-то медицинское учреждение. В центре зала и у стен рядами стояли стеллажи, в машинном отделении, расположенном за стеной лаборатории, гудели мощные электродвигатели, приводившие в действие точно такие же гидравлические насосы, какие стояли на самолете. В распахнутом халате, при каком-то селеночно-сером галстуке, в пестрой сорочке со свернувшимся воротником – как это всегда случается у людей с короткими шеями – Журавлев обстоятельно рассказывал об испытаниях гидроприводов, которые он проводит со значительным превышением обычных нагрузок, чтобы компенсировать температурные, вибрационные и другие влияния на изделия в полетных условиях.

– Ну а как ваша дочь? – спросил Долотов напоследок.

– О, спасибо! Дома. Правда, экзамены придется сдавать осенью, но это уже детали, как говорят!

– Я рад за вас.

Журавлев очень растрогался и, провожая Долотова, никак не мог справиться со смущенной улыбкой.

«Вовремя это у него вышло, – с чувством благодарности к Журавлеву подумал Долотов. – Мне нужно передохнуть, иначе я не потяну».

С работы ехали вместе. Даже когда Витюлька задерживался, Долотов не решался один появляться в квартире Извольских, где жил второй месяц. А сегодня что-то особенно затянулось послеполетное совещание участников будущего авиационного парада, или «потешного войска», как называл их Костя Карауш. От фирмы Соколова для пролета на празднике выделили два перехватчика типа С-04, одним из которых управлял Боровский, другим – Извольский.

– Сегодня решили нашей группе придать еще самолет, – сказал Витюлька.

– «Ноль четвертый»?

– Нет. Какой-то разведчик.

Выбравшись из леса, дорога потянулась вдоль полей, еще темных, пустых, с пятнами нерастаявшего снега в разлтых лощинах. Оранжевое зарево заката, мутное, словно припорошенное пылью, долго стояло перед глазами, назойливо мешая глядеть на дорогу. Но едва начался пригород, как стало темно, будто уже ночь на дворе.

Ехали молча. Обоих в равной степени обескураживала предполагаемая Журавлевым, и как будто вполне вероятная, причина трагедии; неизвестность, казалось, скрывала нечто более значительное, неведомая причина представлялась сложной, загадочной, и такая она не то чтобы мирила с

исходом, но выглядела как-то соотносительно с ней. Но когда тебе показывают трубчатый наконечник шланга и говорят, что все из-за него, на душе становится скверно и никак не хочется верить, что столь малое послужило единственной причиной гибели человека.

– Томка обещала прийти. Часам к восьми. С Валерией, – Извольский посмотрел на сидевшего за рулем Долотова. – Ты незнаком?

– Нет. Кто такая?

– Лешкина невеста. – Заметив на себе пристальный взгляд Долотова, он прибавил: – А девушка, Борис Михайлович, – египетская царица, только говорит по-русски! Да что там, сам увидишь.

Друзья замолчали.

...После аварии, в которую попал Извольский во время испытаний истребителя, дома все чаще стали говорить, что ему пора бросить летную работу. Витюлька отшучивался: «Кому суждено быть повешенным – не утонет». Но не мог не видеть, что его пребывание в госпитале оставило тяжелые следы на облике матери: она похудела, стала рассеянной и, стараясь показать, что с ней ничего не произошло, что, слава богу, все обошлось, суежилась с деланной веселостью, не замечая, как жалка она в непосильных попытках скрыть одолевающую ее тревогу, всегдашний страх за его жизнь, прорывающийся в каждой улыбке, слове, взгляде. В первый день после возвращения из госпиталя, когда мать ткнулась в его

грудь, Витюлька заметил, что голова ее стала совсем белой, но, главное, волосы были прибраны кое-как. Эта неопрятность, ставшая с тех пор обычной, угнетала Витюльку, доказательнее всего убеждала в непоправимой душевной надломленности матери, чему виной был он, единственный ее сын,

А тут – гибель Лютрова, которого мать хорошо знала, и, что особенно на нее подействовало, видела незадолго до катастрофы.

Вернувшись домой после ночи, проведенной на месте падения С-224, Витюлька застал в квартире гостей: двоюродного брата Сергея, прилетевшего на несколько дней из Новосибирска вместе с дочерью Таней, или Татой, как ее звали домашние. Ее-то он и увидел первой, едва переступив порог квартиры.

– Ой, дядя Вить!.. – испуганно охнула она, забыв поздороваться. – Тут такое было!

– Ты чего, как Шерлок Холмс?.. Что тут было?

– Врача вызывали!

– Кому вызывали?

– Бабушке! Она как узнала, что у вас там...

– Кто сказал?

– Она позвонила тебе, когда мы приехали, чтобы сказать... Вот. А ей сказали...

– Что с ней?

– Спит. Ей лекарства дали.

В большой комнате друг против друга сидели отец и Сергей. Витюлька сдержанно обнял брата, покосился на отца и присел к столу.

Дома Витюлька был совсем не тем улыбочатым рубахой-парнем, каким его знали па работе. Здесь он словно попал в другой механизм жизни, заставлявший его не только двигаться медленнее и осмотрительнее, но и думать и говорить по-иному. Здесь, с одной стороны, была любовь матери, скорой на слезы, вызывающая сострадание и потребность казаться таким, каким она видела его, с другой – холодная суровость отца, для которого Витюлька был спортсменом, а значит, неудавшимся, непутевым сыном.

– Ну, как твои муравьи? – спросил он, не зная, о чем заговорить с братом, которого откровенно недолюбливал.

– Спасибо. И муравьи живут, и нам жить дают. Мы тут о тебе говорили, – по-родственному начал брат, в Витюлька вспомнил, что вот это подчеркивание своей родственности, выражавшейся всегдашней готовностью встать на сторону старших в семье дяди-профессора (которому племянник был весьма и весьма обязан), как раз и было неприятно Витюльке. – Не пора ли бросить твой аттракцион, а? Ты был неплохим инженером – вдруг стал летать!..

– Инженерия я всего ничего, а летаю шестой год.

– Но зачем? Что у тебя в перспективе?

– Мне удобнее так. Без перспективы.

– Но это глупо. Как минимум.

– Надо же кому-нибудь быть и дураком в этой компании: отец профессор, брат кандидат.

– Доктор.

– О, виноват, ваше степенство!

Маленькая голова отца с каштановой шевелюрой и такой же бородкой дернулась. Захар Иванович обеими руками указал племяннику на сына.

– Вот в попробуй поговори с ним в этаким стиле! Как об стенку горох!

– Для человека твоей культуры, – голосом наставника продолжал брат, – потомственного, так сказать, интеллигента, посвятить жизнь летному ремеслу? Согласись...

И тут Витюлька, очень трудно проживший эти дни, заговорил совсем невежливо:

– Ремеслом, ремеслом!.. А кому, по-твоему, заниматься этим ремеслом? Сермяжной силе?

– От каждого по способностям, – голосом избранного отозвался Сергей.

– Брось!.. Давно уже не по способностям...

– Видишь? – Заранее зная исход разговора, отец встал. – Он избрал профессию из принципиальных соображений! Дело твое. Ты не мальчик. – В голосе отца была скорбь и торжественность. – Но подумай о матери. Долго ли она протянет в этом ежедневном ожидании?

После ухода отца Сергей снова заговорил, изменив голос до приближенного к дружескому, но Витюлька непотребно

обозвал его и ушел в свою комнату.

Но и это было еще не все. Томка, у которой Витюлька искал утешения, тоже внесла свою лепту к одолевающим его горестям.

Он не узнавал ее во время похорон Лютрова, даже не подозревал, что может увидеть ее такой – столько заботливости было во всем, что она делала, ничуть не брезгуя теме обязанностей в отношении покойника, которые обычно берут на себя женщины немолодые, проводившие на своем веку не одну домовину. Извольский не знал, что они, Томка и жена Гая, делали в морге, откуда вынесли обряженного в погребальную одежду Лютрова, но Томка неизменно была рядом – и там, и во время панихиды, и у могилы, где говорились прощальные слова. Томка не плакала, во всяком случае, Витюлька слез не видел.

Она то и дело склонялась к гробу и смахивала уголком кружевного платка налетавшие на лицо Лютрова снежинки. И как будто даже не слышала, как над погостом, отдавая последнюю почесть погибшему, пронесся Гай на истребителе.

А несколько дней спустя, заглянув в квартиру, где она жила вдвоем с сестрой и где его не ждали в этот вечер, Витюлька застал у них кучу друзей, а Томку отыскал на кухне с каким-то парнем, которого она бесцеремонно оттолкнула. Парень отправился к столу, где пели «у моря, у синего моря», а покрасневшая Томка смотрела на Извольского недобро блестящими глазами.

– Мне уйти? – спросил он.

– Как хочешь.

– А как ты думаешь?

– Ничего я не думаю. Это ты второй год думаешь. «Ах, Томочка, погоди, вот папа, вот мама...»

– Но пойми, не могу же я...

– А что ты можешь? Летать? Ну и летай. Лешка долетался... Только и слышишь, кто-то чего-то строит, куда-то летают, потом собираются вместе и радуются, психотики!.. Хвосты, винты, покойники!.. А я живой человек – баба... как нетрудно заметить. Чего мне ждать?..

Выговорившись сгоряча, Тонка замолчала. Она не умела долго сердиться и, когда заметила, что всерьез расстроила Витюльку, улыбнулась и повернулась к нему спиной: «молния» на платье была словно рассечена от затылка до пояса.

– Застегни... этот дурак не с того конца принялся. – Томка прыснула и залилась смехом.

А он глядел на обнаженную ложбинку на спине Томки и с тоской чувствовал ее правоту. И вместе с тем именно в эту минуту, слыша за собой дурашливое пение, Извольский куда как ясно понял, что Томка по природе своей ни в малой степени не способна проникнуться его жизнью, да и ничьей другой; что там, где она восхищала Витюльку, и там, где унижала его, Томка оставалась сама собой. Она не знала и не понимала душевных привязанностей и была, в сущности, ничейной. Домогавшиеся ее мужчины едва ли не все были

одинаковы для Томки. Этим и объяснялась нерешительность Извольского, когда дело касалось их будущего. Никаких других изъяснов он не мог бы поставить ей в укор. Она не была ни корыстной, ни вздорной, ни бездельницей, ее требования к жизни были просты, интересы не шли дальше того, что популярно, то есть способно увлекать многих. Но когда Витюлька пытался разобраться, отчего судьба обнесла ее простой бабьей чуткостью, сердечностью, на душе становилось так путано и непроглядно, словно он наглотался темноты.

Любил ли он ее?.. Просыпаясь рядом с ней и глядя на уткнувшуюся лицом в подушку Томку, он не мог оторвать глаз от ее полных, чуть розовеющих плеч, от выпростанной из-под одеяла ноги, от всего ее великолепного тела, сильного той особенной женской спокойной силой, которая и радовала в приводила в отчаяние неутолимым, несмолкаемым влечением к себе. И тогда Витюлке казалось, что он любит ее, что самым важным является вот это его нестихающее влечение к ней, а все остальное, все то, что называют несхожестью натур, представлялось третьестепенным, чем-то таким, о чем говорят, когда не видят и не любят того, что видел и что любил он в Томке. Ему и в голову не приходило, что какая-то другая, пусть умная и всепонимающая, но другая женщина могла оказаться рядом с ним.

Иногда в такие минуты Томка спрашивала:

– Хороша?

– Чудо.

– Женился бы?

– Маленько погоди. Предки никак не очухаются от моей первой женитьбы.

Это противоречие ума и чувств чем-то напоминало ему как будто и не относящийся к делу случай. Был он в командировке, попал на базарную толкучку и увидел старуху, продававшую брелок на цепочке. Цена рубль. Брелок медный, цепочка тоже. Зачем-то подержал в руке, положил. А как отошел, вдруг подумал: а старухе-то нужен этот рубль! Почему не купил? Попроси она, дал бы десять, а не купил... Дать и заплатать. Двое в одном человеке решают это: один рассудком, другой сердцем. Витюльке не жаль было для Томки и самой души, но, когда он начинал думать о ней как о жене, вывод был неизменным – нет, не годится.

Но если она отказывала ему в свидании, он чувствовал обиду, унижение, как это случилось совсем недавно, когда он позвонил ей. Разговор вышел дурацкий.

– Что, соскучился? – отозвалась она, и тут же на другом конце провода завязалась бесшабашная перебранка. – Это сестра, – объяснила Томка. – Спрашивает, с кем я? Говорю, с женихом. Она говорит, кто такой? Я говорю, ты...

Послышался отдаленный бестолковый смех старшей сестры.

– Слышишь, смеется?.. Чего? Это я сестре... Спрашивает, когда свадьба?

– Я увижу тебя сегодня?

– Не могу. Занята. Да ну тебя!.. Это я сестре. «Пьяные они, что ли?» – в досаде подумал он, кладя трубку.

Вскоре после этого разговора, не зная на что потратить воскресенье, Витюлька отправился в Радищево па старой отцовской «Волге». Захар Иванович собирался в ежегодную весеннюю командировку и попросил Витюльку привезти хранившиеся на даче болотные сапоги, спальный мешок и прочие предметы походного снаряжения, которое использовалось Захаром Ивановичем в его странствиях по заповедникам. Притормозив у светофора, Витюлька поднял глаза к окнам вставшего рядом троллейбуса и, скользнув взглядом по лицам пассажиров, увидел Валерию. Она тоже заметила его и обрадовано кивнула, когда он жестом пригласил ее занять место рядом с ним. Проехав перекресток, Извольский прижал машину к тротуару. Он очень волновался те несколько минут, пока ждал ее. А когда увидел, сначала торопливо шагающую среди прохожих, потом рядом, немного растерянную и смущенную, все его любовные перипетии вдруг показались ему ничтожными, глупыми, нечистыми в сравнении с этой девушкой, с тем особым чувством приязни и близости к ней, в основе которого лежала причина по-человечески важная, скорбная.

– Витя!.. Господи, даже не верится!

– А я увидел и думаю: она?..

Рассказывая, как они прожили все это время после гибели Лютрова, и Валерия и Витюлька старались упомянуть о

самом важном, но ничего или почти ничего не прибавляли к тому, что было известно обоим и что сообщалось им самой встречей, тем, что они, как двое несчастливых детей, сидят вместе и слушают друг друга. Витюлька говорил, как разыскивал Лютрова, что мешало, и выходило так, словно эти розыски и то, что им мешало, оправдывали какую-то его, Витюлькину, невольную вину. И Валерия в том же тоне несколько раз возвращалась к обстоятельствам, которые задержали ее в Перекатах, не позволили приехать до трагического полета, и выходило так, будто более удачные розыски останков самолета или своевременный приезд Валерии могли бы изменить ход событий.

Потом, словно бы делясь с ней самым горьким, Извольский рассказал, как увидел через стекло кабины натянувшиеся ремни кресла, затем склоненную голову Лютрова и вначале подумал, что он жив.

И она, сразу же поддавшись этому тону, стала рассказывать, где и каким образом услышала о гибели Лютрова, и говорила так, как говорят о том, чего не понимают, не в силах понять.

– Я тогда упала... – неожиданно сказала она и заплакала, потому что, вспомнив, как она упала, она вспомнила и тогдашнюю боль в коленях, а затем и до ужаса ясно весь тот день.

И сколько бы Извольский ни уверял ее, что понимает, каково ей пришлось, в ответ она отрицательно качала головой,

стыдясь своих слез и не в силах сдержать их. Нет, он не знает и не может знать даже сотой доли тех мучений, которые она вынесла и которые не только не утихли, но напоминают о себе ежечасно!..

При взгляде на ее волосы, по локти укрывшие прижатые к лицу руки, на вздрагивающую спину, на всю ее сжавшуюся в отчаянна фигурку Извольскому с какой-то жуткой радостью вдруг открылось, что нет и во всем свете не может быть никого столь же близкого ему, как она! Забыв о своей невзрачности, движимый охватившим его порывом нежности, он положил ей руку на плечо, привлек к себе и принялся успокаивать, словно ребенка, уверенный, что душа Валерии открыта для его участия.

Когда Долотов перебрался к Извольскому, его отец, Захар Иванович, был в отъезде, в каком-то уральском заповеднике, и в большой квартире Витюлька жил вдвоем с матерью, Инной Филипповной, которая нетерпеливо ждала тепла, чтобы перебраться на дачу, к своим грядкам с нарциссами. Почти все вечера проводили дома. Иногда Витюлька собирал преферансистов: звал старичка соседа, звонил Игорю – школьному товарищу, ученому-металлургу, худому, нескладному парню, имевшему привычку, играя, приговаривать: «Карта слезу любит» – и при этом делать жалостливое лицо с любой мастью на руках. Когда партнеров не было, преферанс заменяли «дураком» – единственной карточной игрой, знакомой

Инне Филипповне. Она не могла играть так, чтобы не жульничать, и, если ей удавалось одурачить мужчин, хлопала в ладоши и радовалась, как девочка.

Как-то в поисках партнера Долотов вспомнил об Одинцове и отыскал в записной книжке его визитную карточку.

С тех пор журналист стал своим в доме Извольских. Он являлся всегда чисто выбритым, в хорошо отутюженном костюме, безукоризненно кланялся направо и налево, не забывая спросить Инну Филипповну о ее цветах. И когда снимал пиджак и оставался в белой сорочке с чуть ослабленным галстуком, то и в этом нарушении безукоризненности проглядывала тренированная небрежность в границах той вольности, которую может себе позволить воспитанный человек в мужской компании. Понравился он и металлургу, тут же предложившему Одинцову познакомить его со своей бабушкой, бывшей журналисткой.

– Особа презабавная. Вам понравится, вот увидите!

На лице Одинцова появилось сложное выражение комического восторга от перспективы познакомиться с «забавной бабушкой, которая ему понравится», однако он пообещал прибыть на плов, который металлург грозился «изобразить» из ханского риса по случаю того, что его работа в области жаропрочных сплавов принята на рассмотрение Комитетом по Государственным прениям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.